

Библиотека лирической поэзии

Татьяна ГЛУШКОВА

Не говорю тебе
прощай...

затем, что все мне, монет, не прощай (вред)
и я монет: ткусь, ласточкина прелесть
иных дней, грузись, моя покаяния,
авось, и справлюсь с долем любви,
отведая чистой горечи скорбей...

Тук



Золотой жираф



Татьяна
ГЛУШКОВА

*Не говорю тебе
прощай...*

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2002

УДК 882-1
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6-5
Г 55

Редакционная коллегия:
С. Б. Джимбинов, В. А. Костров,
Г. Н. Красников, В. П. Крейд,
А. В. Петров

Вступительная статья
В. Я. КУРБАТОВА

Основой серийной эмблемы послужила
скульптура А. В. Марца «Жираф»

© Козлов С. Г., наследник, 2002
© Мальми В. Н., составление, 2002
© Курбатов В. Я., вступительная статья, 2002
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2002

ISBN 5-235-02539-3

Своя от своих

Татьяна Михайловна Глушкова умерла на первой пасхальной неделе первого года нового тысячелетия. Милосердная христианская традиция сулит людям, уходящим в свете Пасхи, горние обители и высокое успокоение. И, кажется, немногие в поколении Глушковой были более достойны этих редких даров, чем она, потому что немногие жили в таком духовном напряжении.

Ее биография проста. Это биография поэта. Она сама выделяла в ней отчетливо разवे одно детство, вспоминая слова Ахматовой о соседской девчужке: «У нее – биография. В два года она уходила пешком от Гитлера». Вот и Татьяна с родителями уходила от немца из Киева, где родилась перед войной, и не ушла, и хлебнула оккупации. И вовек не забыла ее, так что и одну из последних книг предваряла тем же неотступным воспоминанием: «...о детстве на черном пожарище можно было б и не поминать, когда б не оттуда, мне кажется, и тип поведения человека сегодня – в условиях, столь похожих на бедствия тех трагических лет...». («Какие крохотные дети./ Какие горькие глаза./ Веревкой связан скарб столетий./ Скрипят четыре колеса»)

Она писала эти страшные дни первосознания в молодой первой своей книге «Белая улица»: «В тот ранний час, когда пришла беда,/ едва жива, я вышла на дорогу», писала в «Выходе к морю», в книге «Разлуки нет»: «Опять без сна мне маяться во сне,/ ищу огня и не нашарю спичек,/ и кто-то входит в комнату ко мне,/ молчит, а будто кличет – не докличет», писала в «Снежной грозе»: «А я – из выживших, зарытых/ в ботве, в бурьяне, в ивняке,/ среди соловушкой повитых/ с ржаною крошкой в кулаке/. Этот золотой, этот черный высокий трагический камертон сразу возносил и выделял ее голос, держал его на опасной, не сулящей покоя границе тьмы и света, и определял тип ее не прячущегося перед бедой бесстрашного поведения.

А потом, кажется, были только стихи – главная ее работа, отсылающая всё остальное на периферию жизни. Она жила словом, как единственно должным перед Богом и судьбой делом, отменив биографию для судьбы. Или это судьба, избравшая ее для слова, как свидетельства, отняла у нее биографию, как череду житейских событий. Слово было ее школой, ее любовью, ее замужеством, ее детьми и общественными постами. Даже ее друзьями, которые с внутренней скорбью оставлялись, преодолевались ею, как в свое время преодолевались Д. Самойлов, И. Бродский, А. Межиров, С. Куняев, Ю. Кузнецов. В дружестве она была так же всецело ответственна, как в поэзии, и, обнаруживая в близких поэтах уступку времени или ложной идее, поверхностное истолкование родного или переменчивость шаткой души, уходила честно и твердо, объяснившись публично и взвешенно, потому что дело было не в личном, а в общерусском деле, каким она числила свое ремесло. И не оглядывалась на последствия. А последствие было одно – старинное и неизбежно растущее одиночество. И она знала его неизбежность, но, как Достоевский при выборе между истиной и Христом предпочитал остаться с Христом, так она при выборе между сколько-то сносной жизнью и Истиной, всегда выбирала Истину.

Это была аскеза, послушание, подвиг полуневольного, полуизбранного затворничества, где только и свету было, что редкие, разной длительности, гостевания в Михайловском, Яропольце, Хмелите, полные все того же святого труда. Она до времени не писала стихотворной публицистики, но по ней всегда, с самых ранних лет, можно было видеть «температуру» Родины, глубинные токи ее мысли, чувствовать духовное здоровье и недомогание России – так верно ловила Глушкова состояние ее сущности, словно у них было общее кровообращение. И оттого ее биография – это биография ее стихов.

* * *

Уже ее диплом в Литинституте запросился в события и оделся в сюжет. Она написала цикл о Киевской Софии. А на дворе шла последняя хрущевская атака на русскую церковь, падали новгородские, псковские, смоленские, рязанские храмы. Руководитель ее диплома, несомненный уже классик советской поэзии, цирковой борец и певец сильных страстей Илья Сельвинский отозвался резко и в духе времени: «София Киевская и тому подобная сусальщина не могут быть темами советского поэта» – и предложил вместо диплома справку о прослушанном курсе. Глушкова потом вспоминала в одном из интервью: «Цикл стихов о Софии был написан мною еще в 1960 году, и я не желала отказываться от него. Тогда еще и слуху не было ни о каком «Русском клубе» или «Обществе охраны памятников истории и культуры». А я не отделяла от «этой сусальщины» сами воспоминания о Великой Отечественной войне:

...И от стен обгаренной Софии,
от ее закопченных камней
снова смотрят в огонь неживые
византийские очи людей.

И едва отличим от мозаик
даже детский пылающий взгляд...
Вот в стакане вода замерзает.
Вот всю зиму коптилки коптят.

А Софийская колокольня потом оказывалась для меня «главным украшением» во время салюта «в день 7-го ноября»: «И голубая, голубая,/ она вступала в высоту,/ печаль веков превозмогая,/ птиц направляя на лету...»

И кто знает, чем бы кончилось дело, если бы года через полтора эти стихи не прочитал С. Наровчатов и не сумел отстоять их перед своим давним учителем, тем же И. Сельвинским. Да так отстоять, что вместо справки поэтесса получила диплом с отличием. Кажется, это было последнее ее «казенное отличие». Потом высота ее музы и ее слава

были свидетельствованы немногими редкими голосами, всегда достойными и никогда не прерывавшимися, но никогда не шедшими далее писем и слов при случае. Она всегда шла одна, без поэтических эскортов критики, учеников, почитателей – так высок был голос, не подпускавший слишком близко. Оранта, Нерушимая Стена святой Софии ее прекрасного, ее страшного киевского детства, кажется, неотступно горела в ее сердце синевой и золотом, как молитва, сестра, Родина, определяя ее путь, ее силу и право. Родина была ее неизбежностью. Гёте когда-то говорил, что поэзия есть только в тех вещах, которые мы еще способны чувствовать.

Она чувствовала Родину в сердце постоянно, с острой свежестью и неустанностью, как мать чувствует ребенка, как возлюбленная – любимого. Как чувствовал разве еще Блок в цикле «На поле Куликовом», о котором поэтесса написала лучшие страницы, услышав в сердце самые тайные, самые дальние смыслы цикла, как если бы он родился в ее собственном сердце.

* * *

Я особенно останавливаюсь на «теме Родины» (...Но «тема Родины» затем/ нас отличила, осенила, чтоб разом выплеснув чернила,/ поверить горькой немоте) вовсе не потому, что у Глушковой не было других тем. Были и «жанры», и «пейзажи», и «портреты минувшего века», и страстная любовная лирика. Но и в этой лирической боли биограф тщетно искал бы единичных примет. Сплетник от поэзии всегда оставался ни с чем. Ее «Он» и ее «Ты» – был только лирический герой. Ее «Ты» обращено к Ты каждого, каждый может присвоить его. Это любовь не в частном, а в высшем поэтическом небесном переводе, хотя бы реальная модель не стоила мизинца своего лирического двойника. «Когда любит поэт, влюбляется бог неприкаянный» (Б. Пастернак), бог, потерявший «прописку» и томящийся в поисках сердца. Это вся любовь мира. Поэтов нельзя любить и быть ими любимым – они всегда спросят больше, чем может дать избранник, хотя бы и умели носить

смирненное платье обычного брачного достоинства. И в этом завораживающем ритме, в этой печали непрестанного вызова, в этом двоении плача и света – какое всегда сияние слова! какая полная жизнь! будто слово навсегда согласилось с движением крови, вошло в чистый пульс, само стало кровью. И оттого оно так естественно и верно, и оттого подлинно непреложен сформулированный ею закон:

...жизнь отрицает искусство

и лежит перед ним, как раба...

Жизнь плачет и рвется, и она же благодарно сдается преображающей поэзии, приемля исцеляющую тишину русского простора, врачующий покой небес и спасительное безмолвие всего Божьего мира, который в России помнит свое родство с человеком и райскую давнюю, все памятную связь с ним вернее и крепче, чем в иных краях:

Я так скажу: для этих расстояний
на сорок бед – единственный ответ:
страданье не зовет себя страданьем,
разлука знает, что разлуки нет.

Во всяком случае, знает, что ее нет после того, как она обрела выражение, когда ее приняло в себя родное слово, приняло, чтобы растворить в вечной нашей печали, где братец-горе и сестра-разлука вечно живут рука об руку, и где в крайний час всегда подхватит и исцелит сердце поэта милая Родина – личная и любящая, матушка и сестрица. И в том-то и отличие, и единственность этого голоса, что Родина росла сквозь каждую ее мысль и каждое чувство. Как будто ей ведомо было предчувствие грядущих обвалов, утрат, осыпей, и она, как набоковский изгнанник, который был, «как ветром, как морем, как тайной, Россией всегда окружен», всякое чувство мерил этой любовью, этой правдой, этим спасительным светом. Как будто с каждым словом сердце ее ширилось, обнимая все новые горизонты, новые духовные и исторические

пространства ненаглядной Родины. «Страница, странница, страна» – эта пластинка кружилась, обнимая сопки Маньчжурии, балтийские волны, крымские, потемкинские виктории, Украину Сковороды. Припев Баратынского «В Отчизне я...» был и ее счастливым неотступным припевом.

Вот почему она никогда не приняла бы миропредставления своего юношеского друга И. Бродского, определявшего себя в нобелевской лекции как «человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, зашедшего в этом предпочтении довольно далеко... и в частности, от Родины, ибо лучше быть неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии». И она избегала «общественной роли», а вот чтобы уйти «далеко от Родины» и договориться до афоризма, что «лучше быть неудачником в демократии, чем мучеником в деспотии», не могла вовек, даже и помыслить не могла, ибо знала, что поэт не волен быть управляемым иной волей, кроме Божьей, и иной землей, кроме своей, потому что «большому историческому пространству присуща непререкаемая теснота. Это именно в нем («велика Россия»), оказывается, отступать некуда», *не с теми я, кто бросил землю!*

Не отойду я от нее
в ее последнем поруганье.
Не попрошу я подаянья
у лютых недругов ее.

Она слышала это «большое историческое пространство», вычитывая его в русской поэзии, в ее требовательной традиции, которой Глушкова посвятила властную и мужественную книгу «Традиция – совесть поэзии». Поэтесса прошла в этой книге путями русской поэзии XVIII, XIX, XX веков, чтобы, терпеливо проанализировав все ее реформы и новаторства, все архаизмы и консерватизмы, все ее удерживания и вызовы, изложить свой «символ веры», согласно которому «традиция поэзии подразумевает «дух

целостности», целостное, а не разорванное, неряшливо растекшееся мироощущение; постоянное ощущение *связи* (курсив Т. Глушковой – В.К.) мировых процессов, связи времен – даже в те «катастрофические» эпохи, что богаты соблазнами думать: «распалась связь времен...»; это ощущение себя не в «вихре» сегодняшнего календарного дня, но в потоке неисчислимого исторического времени, не на узкой географической полоске земли, но в той «точке», «клубке» многослойного пространства, откуда бывает «видимо далеко во все концы света» (Гоголь), доступно обзору целое, чреватое гармонией, мирозданье... Это – доверие к гармонии, ибо поэт – ее сын; и речь идет не о самом по себе «гармоническом стихе», не о самой по себе гармонизации стихотворного языка (обеспечиваемой уже не столько тем, верховным, «чутким слухом», что присущ пушкинскому поэту, сколько мастерством, имеющим среди своих законов немало и постижимых наукою «рукотворных»), но о гармонии как идее мироздания, о неумирающей возможности ее торжества...»

Из ее открытого в будущее окна было действительно «видимо далеко во все стороны света», что и определяло драматизм ее музыки, отчетливый с первой книги и внутренне досадный благополучному читателю. Надобно было быть русской в веках, во всей высокой и несчастной нашей истории, где бывали великие победы, но не бывало достатка и счастья, чтобы сказать так просто: «...мне только родней/ та земля, что горчайшей зовется». Надобно жить кровеносной полнотой традиции, чтобы не различать, где «звон цепей, где – стук сердец,/ где – стон любви, где – вопль металла,/ где начинается начало/ и где кончается конец». И посреди любых бед не ронять достоинства и не терять света: «Я спокойна. Меня не жалеи:/ горше плачется – слаще поется». Этой славянской слитностью с землей и историей она и слышала в себе и носила в сердце Украину, Россию, Сербию, Латвию («Стою одна у старого Днепра и вижу путь на Витебск и на Вильно.../ ...от круч Днепра всего видней Балканы»).

Ее народность широка и не сводится к Кольцову-Есенину-Рубцову (мы отчего-то сузили понятие «народного» до крестьянской ветви), но естественно слышит Пушкина-Некрасова-Фета-Блока. Ее историзм органичен, ибо она всякий день жила в истории, переживая ее больным, страдающим, не литературным (этим «историкам» в поэзии имя – легион) сердцем.

Может быть, именно это отлично знаемый Татьяной Глушковой К. Н. Леонтьев и звал когда-то «своеобразным русским содержанием в прекрасной форме». Уж сколько нас корили за это «своеобразие» – чего, мол, уж так выноситься-то из общего ряда, из европейской традиции? Да только куда денешь русский простор и рожденную им длительность нашу и как будто излишнюю тяжесть в чувстве, повествовательность нашего сердца, которую возможно обнять только таким же бережно выверенным и «подслушанным» у этого простора словом («подслушать у музыки что-то, и выдать, шутя, за свое» – улыбалась Ахматова, зная, какой ценой берется это «шутя»), Глушкова выговорила это знание в своем прекрасном *arg poetica* с чистотой формулы:

Наш стих – наследник русской прозы.
В безмерной глубине возник
его таинственный родник
и тот невыспренный язык,
когда уж выплаканы слезы.

Не этот ли «невыспренный язык», не эта ли мудрая простота и делали ее стих при совершенной естественности таким особым и даже как будто замкнутым? Он всегда не в поверхности дня, а в самой его сердцевине, там, где живет душа явления, его параллельная человеку (в нем и вне его живущая) неслиянно-нераздельная сущность мира. Эта сосредоточенность может показаться слишком независимой (будто читатель и не надобен), тогда как она только требует той

же внутренней цельности и того же непрерывного слушания родного.

«Предназначенное слово», «поэзии страшное имя» всегда хранились ею для лучшего часа, для чистой речи – отчего русское слово год от года как будто благодарно раскрывалось в ее поэзии и сияло совершенной свободой. И если бы мы умели слышать, если бы слух не был ослаблен усталостью и равнодушием, скопившимися во времени, мы бы давно услышали неотступную трещину тревоги, словно поэтесса и впрямь обходила прежние «владения» для прощания, и не для одного своего, а словно готовила наше общее.

Дует холодом в зябкие плечи,
опускается первый снежок.
Все пространство эпической речи
залегло в перекрестье дорог.

Влево ступишь – коня потеряешь,
вправо – голову выйдешь сложить...
С колыбели об этом ты знаешь,
так что нечего вроде тужить.

...Слава Богу, не чувствуя боли,
выхожу в перекрестье дорог.
Разгуляется... Снежная воля...
Полный звездами синий платок.

И в наплывах декабрьского света
вижу темные спины раки.
«Не рыдай мене...» – сердце поэта
светлой родине слез говорит.

Это было личное – она была тяжело больна в те годы. И вместе с тем это было наше общее, потому что все уже влеклось к осыпи, к скорому стремительному обвалу. Читатель обычно легко принимает декоративный трагизм женской лирической музыки, опасливо восхищается поэтическим

диссидентством, уважительно «щупает» ложную мускулатуру поэтических «качков», умело изображающих отвагу в диалоге с властью, но он раздраженно обходит настоящего трагического поэта, обнимающего материнские тревоги Родины и истории. В этом смысле читатель – дитя, ищущее свободы от обязательств, и «связанность» ему скучна. А поскольку читатель в дневное время еще и «гражданин», то он и тут предпочитает «свободу», больше похожую на «отвязанность» духовно-подросткового свойства. Поэтессе еще хотелось утешить себя напоследок давним, всегда спасающим – «разгуляется», и светом из сердца христианства, из тысячелетнего родного православия изливающегося плача «Не рыдай Мене, Мати, зряще во гробе...» Но мир уже избирал «свободу», торопя новые границы – без моря и поля, и неба, стремительно предавая вековую собирательную державную работу.

Милосердная болезнь как будто пыталась укрыть ее в час последней беды, о которой она напишет потом в стихотворении «Час Беловежья»:

Когда не стало Родины моей,
я шла тропой к Неземной Отчизне.
Но даже там, как на горючей тризне,
не пел волоколамский соловей...

Надо знать, что для нее этот соловей, певший во всех ее книгах, в любви и разлуке, в усадебном покое Яропольца и плещущей весне Михайловского, в сиянии юга и бедной тишине Подмосковья, чтобы понять, каким смыслом наполнилось для нее это молчание, это немое зияние на небесной тропе – какой тут виделся знак неблагополучия в земном доме, который она всегда знала растворенным в своей крови и без которого не мыслила ни любви, ни поэзии:

Когда не стало Родины моей,
в ворота ада я тогда стучала:

возьми меня!.. А только бы восстала
страна моя из немощи своей.

Но вместо «восстания» пойдет черная страда, страшные дни октябрьского расстрела 1993 года, «белена и цикута» газет и телевидения, и она не была бы русским поэтом, старинной собеседницей неуклончивой русской музыки, диктовавшей в свой час «Клеветникам России», «Парадный подъезд», «Возмездие», «По праву памяти», «Реквием», если бы не взяла страшное, истошающее душу, железное перо свидетеля, чтобы теперь нам надолго вперед, на всю грядущую нашу историю, уже не избыть этих мучительных строк о «навек красной Красной Пресне», о «навек черном черном вороне», когда и белейший плат Покрова будто налился кровью.

Впервые тогда излетают у русского поэта еще не осознанные нами в страшной горечи слова:

И вот уж видно: вечным Римом Третьим
не сдюжила Московия пребыть!
Отныне – счет избыточным столетьям:
плывут... Куда? Зачем теперь им плыть?

Для ее леонтьевского ума, для хорошей славянофильской выучки, для вполне народного сознания было горчайшим из исторических поражений сознавать, что так еще недавно

...был весь мир провинцией России,
теперь она – провинция его.

Все эти стихи, ставшие потом изданной добрыми людьми в Новосибирске необычайно значительной по своей трагической музыке и свидетельской правоте книжкой «Всю смерть поправ...», печатались по немногим газетам сразу в дни, когда не остыл пепел, когда еще «камни на голос кричали» и была «вся Москва – хладеющий Некрополь»... Мы по самозащитной беспамятности торопимся забыть эти постыдные дни и уж забыли, забыли, но это написано поэтом, и теперь уже неустраимо из истории, незабвенно, что бы ни делали и как бы ни гнали тот позор из памяти и истории политики. Это

названо так точно, так страшно, что и сожженная рукопись уже будет гореть в небе старинным напоминанием: «Есть Божий суд!» И это не мстительность, не срыв сердца, это голос чести, почти позабытый нами в последнее десятилетие.

Последняя книга, которую Татьяна увидела изданной, была отпечатана уже не зависящим от поэта, словно «указывающим ему место», тиражом в 500 экземпляров. Она звалась «Русские границы» и замечательно объясняла, что мучает поэта в униженной до «провинции мира» России. Она впервые указывала на неожиданную сторону этой болезненной проблемы – на то, как растет и как мелеет русское слово и где тайна его необъяснимой шири и власти... Она звала в свидетели и товарищи Пушкина и открывала таинственную связь пространства и речи, империи и русского глагола:

...Нам пишется на краешке стола?
Нам хватит дести жеваной бумаги?
Все так! – доколе реют наши флаги,
мелькают веси, грады, буераки,
три океана дыбятся во мраке,
и рекам, звездам, верстам – несть числа!

И далее совершенно ново и сильно, смущающе по дерзости, но вернейше по смыслу:

И надобны крестьянские труды,
тьмы крепостных демидовских рабочих,
чтоб выковать «Египетские ночи»
иль это – «гений чистой красоты»...

Словно нарочно, взяла не «Полтаву», не «Медного всадника», не имперские оды и зовы, а тайну и музыку, которым как будто подлинно хватит «краешка стола», но она знает, что пишет, помнит по своей «Белой улице», сжимаемой до «Белого Дома», во всей русской поэзии слышит скрытую глубину согласия Божьего замысла и слова, могучего дыхания простора и краткой строки, вольной, не ведающей границ русской души и лирического вздоха. Сужаясь до «провинции», мы, не замечая того, лишаемся литературы могучего дыхания,

большого стиля, приучаясь жить «в табакерке», в тесноте умалившегося до постмодернистских забав слова... И если Глушкова удерживается и поперек всему хранит русское слово и неуступчивое сердце, не страшась ради истины даже и совершенного одиночества, то потому, что одиночество это – все-таки теперь уже навсегда с русской музыкой, хотя бы та перестала быть вакханкой и молодой собеседницей, а стала вдовой и ничего-то уже как будто не помнила о любви, а, «боса, некрасива», пришла омыwać раны своих детей. С Музой и с милой своей Родиной, с былой ее славой, о которой поэтесса не устает напоминать где с гневом, где с любовью («не уступлю я этот праздник/ Победы... Я еще горжусь/ той отчей славой...»).

Никогда в ее слове о Родине не было праздной риторики – это знал каждый по ее страстной публицистике последних лет, по ее властной критике, но прежде и первее всего – по ее все ждущей своего часа и достойного читателя поэзии. Везде, везде эта материнская тень России, везде она – хранительница, спасение и опора: «А я шепчу: красавица! Отчизна!/ Что без тебя могла бы значить я?» Или – еще пронзительнее: «Из рая, плача, прилечу сюда». Для нее, подлинно, Россия не позади, как у наших печальников, а всегда и во всякий час – вокруг. Сегодня и вовеки.

Так через Родину и одиночество, очевидно, узнала и позвала она в поддержку после мучительных дней окровавленного октября Некрасова – того, кто ближе и вернее мог разделить тоску смятенных дней, потому что уже при нем «плыла Россия под уклон/ красавицей незрячей». Хотя кто знает, как приходят друг другу на помощь в роковые часы русские поэты? Глушкова говорила в одном из писем, что эта ее все еще не имеющая издателя самостоятельная книга («Возвращение к Некрасову»), фрагменты которой мы вводим в «Избранное», явилась странно, «даже мистически». «Это был как будто приказ, поступивший зимой 1994 года, и я прямо наутро стала неудержимо писать эти стихи. Отчего есть в них и такое признание:

...Полжизни пробыл он в изгнание,
и снова душу обожгло
его анапестов рыданье,
его простое ремесло...»

Но такие «приказы» не приходят неготовым людям и в случайный час. Тут была давняя любовь и давние оклики (разбросанные в стихах, словно готовые почва, скрытые цитаты), а в эти, еще добаливающие в сердце, дни 93-го года тем более было важно понять, «таким ли был народ, иным ли, / чем он (Некрасов. – *В.К.*) об этом прорывал». Ибо не только несчетными посленекрасовскими революционными пожарами, но и нашей эпохой «задымлен лик того народа, / чье «сердце – золото». А не разрешив этого вопроса, нельзя было ни писать дальше, ни жить. Надо было выбираться из тоски – и в «хищную эпоху... шакалей сыти», «кровавых вранов, желтоглазых сов», ободрить, вознести саму Русскую Музу. Там, у Некрасова, она еще была кровной сестрой поэта («сестра народа – и моя»), а теперь уже приходилось спрашивать: «Когда ж распалась та семья?» и догадываться, что муза уже не сестра, а скорее позабытая деревенская мать ослабленного, рвущегося пожить по своей воле народа, и поэту надобно только вместе с нею в терпении молиться и ждать нашего оразумления и не терять силы. И поэтесса слушала в себе тот давний голос, болела болью тяжело умиравшего Некрасова и прозревала следом за ним, что и страдание, в конце концов, возвышает и строит действительно живую душу русского поэта. И она, как главную тайну, как будто и поперек самой себе, шепчет поэту в облегчение страданий отменяющую, преодолевающую смерть правду:

Жизни – не бывает несчастливой...

«Умиравший поэт подле угасающей тетради» спасал ее от пошлости и нечистоты ложно бодрого, обманывающего себя дня, напоминал спасительные уроки, во все времена помогавшие нам перемогать непосильные беды, что «в горе жить – так некручинну быть», помогал вернее видеть «Родины

черные сроки», учил слову, пронзительному, как «слезы у горла», которое и сделало Глушкову самым жестким и беспристрастным свидетелем двусмысленных дней истории.

Время как будто медленно раздвигается, утрачивает реальные границы, и читатель утверждает в мысли, что это не книга одного поэта о другом, а это длится одна поэтическая судьба, как живет одна Родина в прибое одних и тех же проблем, разве с каждым временем в ином платье, и народ, как с настоящей глубиной без срыва на него поглядишь, все тот же, все один, и все держит жизнь:

...Он добр, язвителен ли, строг ли,
но в нем навек впечатан лик:
незримый нам наш тайный облик
хранит поэзии язык...

Таким ли был народ, иль хуже, –
едины: кто его создал,
и кто, стучась в мирские души,
возвел его на пьедестал!

Все это надо было увидеть – «незримый нам наш тайный облик», лучшее наше, коренное, что «хранит поэзии язык», и самого якобы неактуального нашего народопоклонника – Некрасова... Действительно, мы слишком скоры на суд, и всяк поворачивает народ к своей выгоде, а по-настоящему лик народа ведом только Богу да поэту, который угадывает его тем вернее, чем глубже всматривается в свое сострадающее сердце.

Так она жила с первой книги, и в тяжелейшие дни, не то что не «затеяв побег» от скорбной живой Истории, но и просто в сторону не отходя, не высокомерясь в «чистом искусстве». В этом благом деле высокого человеческого стояния у нее были прекрасные предшественники, восславленные ею в стихах и блестящих критических работах, – Пушкин, Тютчев, Блок... И так же «вдруг», как некогда спасительный Некрасов, в последние два года явился в собеседники гениальный Грибоедов...

Может быть, сама поэтесса, гостя в те дни в родовой грибоедовской Хмелите, сначала о книге-то и не думала, а

только, искушенная гением места да тем, что об эту пору подоспело 170-летие со дня его гибели, не удержалась написать несколько стихов «к случаю». А клубок-то возьми и размотайся... Нечаянно окликнутый Грибоедов не захотел уходить. Вдруг оказалось, что «ум и дела» его горестно и вразумляюще важны. И не филологически, не историко-литературно, а именно человечески, политически, нравственно важны. Почувствовав это, он там, в Хмелите, и кинулся навстречу поэтессе и попросил слова.

Спешу я к тем, кто горя от ума
Хлебнет годков, пожалуй, через триста.

Какое там – через триста! Двухсот не прошло, а уж хлебнули и развеяли по ветру дела, бессмертием которых хвалились. И именно от ума, ума, выпавшего из целостного порядка жизни и вознамерившегося занять неподобающее место. И вот через сто семьдесят лет после гибели это живое сердце отзывается в сердце и уме другого поэта – совершенно естественно, что в Хмелите и что в сердце именно московского поэта. И как все ровно, цельно, будто разом явилось. Да так и есть – разом! По датам видно, как нетерпелива была Муза, будто боясь остыть, не договорить, не дослушать, как торопила ночь и не могла дожждаться утра, чтобы опять за перо – одним дыханием. Словно и правда, поэтесса считывала с небес, радовалась нечаянному кладу, торопилась воскресить потаенную, сдержанную, но и одновременно непротиворечиво открытую доверчивую жизнь, пытаясь вместе с героем и поэтом понять, кто же он – лирик, трагик, мудрый дипломат, стоящий целой армии, комедиограф, баловень судьбы, счастливец, одинокий человек, не знающий дома.

И ведь как опять все сошлось в потребности времени и избранной поэтом фигуре – дипломатия, горький дар, сила ума, одиночество, мощная напряженность жизни при кропотливости и смирении и так свойственная поэтессе и ее герою растворенность в заботах Родины и умение обнять время словом! Вообще, они (герой и автор) в этой книге так часто

просвечивают друг в друге, двоятся, как «тогда» и «теперь», что каждое слово, не забывая грибоедовско-пушкинской эпохи, кипит совершенно нынешним днем. Немудрено, что Поэт (Господи, который? – автор? герой?) в книге живет с такой напряженной цельностью, не затмевающей его свободы и как будто временами даже беспечности – комментирует «отзывы» о своей «смерти», ворчит на Пушкина: «Бог с Вами, Пушкин» (в смысле: не правы Вы), бранит Мицкевича, неотступно думает о кавказской войне («В Чечню! В Чечню! – трубят уже поход. И право – надо. Верь на слово: надо!»). И огромный культ дружбы, и жгучая скорбь по казненным: «смежу глаза – Апостол да Рылеев/ качаются на утреннем ветру...» А Грузия! А Персия!..

«Нет, не могу на прозу перевести», как признается сам герой ее в одном из «писем», что содержатся в этом чудном «документальном вымысле» поэтессы. Не лучше ли читателю самому услышать этот непередаваемый голос, эту мудрость и простоту:

Зачем так жизнь быстра и коротка,
и что в ней вечно, промелькнувшей кратко?
Ужели смерть – в ней главная строка,
а прочее – шальная опечатка?

Он спит. А мы-то мним, что нет его.
А он устал – и вот уснул глубоко
под сладостную музыку Востока
и простодушной черни торжество.

«Он спит...» Как кажется, спит и сама наша русская традиция, видя, что пока «простодушной торжествующей черни» не до нее. Но я помню, когда я повторил в одном из писем к Глушковой строку из ее Грибоедова «Часы на башне Вечности стоят», истолковав ее, как знак нынешней, позабывшей вечность реальности, она резко ответила: «Стояли бы, когда бы я не писала об этом».

Нет, не пересказать этого не знающего сюжета романа в стихах, эту элегическую поэму, не расплести эти

шестистопные ямбы, а разве только счастливо вернуться с поэтессой в молодое время открытых страстей, прямых чувств, сильных характеров, гордой русскости, пружинного распрямления молодого государства. Коснуться тайны еще живой жизни, где счастлив Пушкин, смешлив Вяземский, трогателен Кюхельбекер, нетерпелив Рылеев, азартна война, смела армия и удачливы дипломаты. Грибоедов вернулся вовремя. Сейчас в нем нужда. Устыдить-то, может, уже никого и нельзя, но напомнить о чести и свете русского слова и русской славы никогда не напрасно.

* * *

Я думаю, теперь читатель и по этому краткому огляду творчества поэтессы сам увидит, что она не только декларировала традицию как «совесть поэзии» и не только теоретически звала к сохранению «критерия народности», но каждой поэтической книгой и каждой строкой в ней удерживала и традицию, и народность на достойной их русской высоте, не давая размыть это единственно плодотворное понятие и совлечься к разумению искусства как «суммы приемов».

Любовь к Отчизне и слову в его евангельском творческом разумении давала ей высшую независимость и позволяла, не заботясь о немедленном успехе, спокойно ждать читателя в том месте, где живет несуетливая, не бегаящая за временем Истина. Дух целостности, пронизывающий книги поэтессы – от счастливой «Белой улицы» через пламенеющие горечью дня, но при этом выводящие в келью летописца «Русские границы», до умнейшего, печального, иронического, домашнего и государственного, вчерашнего и навсегда завтрашнего «Грибоедова», – хранит этот редкий дар от тесных объятий скоропортящегося дня, возвращая нас к русской классике, к тому, что Блок определял как «чувство пути», а К. Леонтьев – как «своеобразное русское содержание в прекрасной форме». Вообще, ее поэзия неотрывна от ее философского наследия, очевидного для всех, кто знал ее

работы о Леонтьеве, Пушкине, Блоке. Поэзия озаряет ее мысль светом, а мысль горит в поэзии глубиной мудрости и христианской требовательности.

А если мы вспомним, что у латинян само слово «поэт» означало «пророк», то уже с одним только этим высоким именем ушедшей и едва вступающей в долгое историческое время поэтессы можем с порога тысячелетия глядеть вперед с упованием, ибо все ее творчество было пророчеством о неизменности и глубине родного света и неизбежном торжестве «неслиянно-нераздельного русского содержания» в живом хоре мучительной и сбивчивой, но неостановимой жизни.

Глушкова снова напоминает, что разломы мира проходят через сердце поэта и в нем же врачуются и преодолеваются, в нем ищут небесного разрешения.

Смерть поэта на Пасху – есть знак Господня слышания этого диалога и Его благословения поэту за достоинство и вещей свет преображения.

Валентин КУРБАТОВ

Но я всегда умела посмотреть
ясней, чем вы, задумчивей и шире.
Но что-то есть в моем гремучем мире,
о чем сказать больней, чем умереть.

1980

София

Киевская

* * *

Судьба моя была не зла.
Она к порогу принесла
крутой ломоть солёный,
кувшин воды студеной.
И проводила со двора,
лукавая, с поклоном.

Судьба моя была добра.
И для меня приберегла,
как будто бабка – внучке,
осколок древнего пера
на деревянной ручке.

1963

Река Лыбедь

Было три брата – Кий, Щек,
Хорив и сестра их Лыбедь...

Сказание об основании Киева

Ветер марта взволнует и вздыбит
острый гравий – крошится гранит, –
и опять белолицая Лыбедь
под землей, под мосточком гремит.

Милым братьям сулит расставанье,
милу другу – кольцо серебрит,
а со мною до утренней рани,
до вечерней зари говорит:

«Не печалься. Взгляни – слаще меда
ваша доля: отчизна, весна...
Сколь великая вышла свобода
всем, кого не убила война!

Сколь широкие встретишь печали
на скрипучем родимом крыльце!..
Не пугайся: что было в начале,
только раз повторится – в конце!»

Говорит: «Сколь живучи поляне,
терпеливый да тертый народ!
Прежде солнце на донышко глянет,
а потом уж пойдет в небосвод.

Прежде выпьешь ты мертвой водицы,
чем пригубить водицы живой...»
Голос Лыбеди в камне томится,
прорастает зеленой травой.

Голос Лыбеди красную глину
размывает в кладбищенском рву.
И кому-то поет: «Не покину!...»
И кому-то кричит: «Доживу!...»

1979

* * *

Страница – странница – страна...
Коснусь струны – и свет струится.
Язык родной, как дух томится,
какая вольность нам дана!

Какая рознь, какая связь, –
но вот сливается, двоится
блаженство, вздор, причуда, власть
твердить то «кажется», то «мнится».

Какая спесь! – но мне слышна
на переломе ночи звездной
твоя лесная тишина,
разлитая по птичьим гнездам.

И вот уже почти в руке
трепещет ветер, ветка, птица,
и от огня на волоске
алеет первая страница...

1971

Корабль одинокий несется...
Лермонтов (Из Цедлица)

Все длинней новогодние ночи,
все горчей запах спутанных хвой,
и беспутная почта, и почерк,
ни штрихом не похожий на твой.

Погляжу молодыми глазами,
разожгу две высоких свечи
и «Из Цедлица» снова на память
стану нежные строки учить.

И не кафель – но старые кафли:
эта печь, как собор, высока.
Что там станется: госпиталь? Яффа?..¹
Путь в Россию. Да эти снега...

Что за сказки певались ночами!
Что за речь в наше горло текла!
Что за детство нам выпало! С нами
так судьба молода, весела!

Как румяны крещенские зимы!
Как метет по военной земле!
Мы еще не видали России,
мы – в Украине, украдкой, в селе,

где – коптилка, младенчество, голод,
где – не запад, не юг, не восток;
как далек мой разрушенный город,
как он там одинок, одинок!

¹ Эпизод похода Бонапарта в Сирию с посещением чумного солдатского госпиталя в Яффе.

Новый год. Что ни день – високосен.
Ни огня, ни хвоинки со мной.
Но цветенье смолистое сосен
вспыхнет осенью, летом, весной!

Уцелеем! Не выдан, не съеден
этот нищенский, дерзостный дух.
Сколько зим, сколько верст до победы?
Сколько надо бессмертных старух,

чтобы звуки памятной речи
не старели, чтоб снова, во тьму,
я писала – на отчете, на вечном –
то ль тебе, то ли бог весть кому!

1971

А он был тоже окруженцем,
тот стародавний соловей,
который солнечным коленцем
остался в памяти моей.

А он был тоже небогатый,
и он был тоже сиротой,
когда пылающие хаты
всю ночь светили за рекой.

Когда в далекий город Киев
придя от гневного Днепра,
мы платье мокрое сушили
на углях черного костра.

Когда лазурною весною
ударили колокола.
Когда ломилась бузиною
страна, спаленная дотла.

И, как серебряная слава,
цвела черемуха моя...
А там, за свалкою, – канава,
где зреет голос соловья.

Там однорукая береза
и дуб, что смотрит кобзарем –
то ль от свинцового мороза
ослеп, то ль питанный огнем...

И опушается орешник,
и млеет сладкая трава...
А я – из вымерших, из здешних:
опять живехонька-жива!

А я – из выживших, зарытых
в ботве, в бурьяне, в ивняке,

седым соловушкой повитых,
с ржаною крошкой в кулаке.

А я – из малых, бессловесных,
из длинных прочерков в строке...
Но это мне в забытых песнях
плыть подголоском по реке.

1981

На Украине 1942 год

Детство в траве... Лопушиной свирели
теплый, удушливый зов.
Прядают в сини макушками ели
меж кучевых облаков.

Детство – во сне. От апреля до мая –
вечность по имени: миг.
Это – не я, это вышел из рая
мой темноглазый двойник.

Что́ он таит? Отчего разговора,
плача хотя б, не начнет?..
Разве не к спеху? так ли – не скоро
наш одиночный черед?

Детство – в плену. Затопорщится ельник,
тропки в клубочек завьют...
Лишь на околице воин-бездельник
тычет ружьем в небосвод.

1977

Все называется: война.
Все называется: «под немцем».
Под ним – и осень, и весна,
и две зимы, и та сосна,
и этот луг, и страх под сердцем,
и с петухами полотенце,
и горсть горящего зерна,
и в речке полная луна,
и соловьиное коленце,
и говорят: куда подеться? –
повсюду – о н, везде – о н а!

Все называется: Украина...
Как будто кража или тайна,
и край, и краткая межа,
краюха... Шепчешь, не дыша...

Все называется: весна.
Все величается: победа, –
и пчелы золотого лета
летят, не гаснут дотемна.

Все называется: беда.
Все именуется: разруха.
Проруха, засуха, присуха
беды... И эта свежесть духа.
И смерть. И сердца простота.

Все вспоминается: весна...
Все называется Россией,
куда тропую густо-синей,
дичась и отряхая иней,
дойду когда-нибудь одна...

* * *

Пока вы отступали на Восток,
я подбирала каждый лепесток
лоскутной речи... Смешанный глоток
мне был и чуден, и хмелен, и горек.
А всё — для этих запоздалых строк,
где только меркнет древний говорок,
где только пеплом веет ветерок
заплечных зорь, моих цыганских зорек...

1973

СОФИЯ КИЕВСКАЯ

* * *

Я буду камень слушать в эту ночь,
пока рассвет взбирается по круче,
пока по кругу, медленному кругу
плывет на юг холодная звезда –
я белой пылью согреваю руку.
Я буду камень слушать в эту ночь,
хранящий жар татарской терпкой крови,
не тронутый, не сдвинутый никем,
на темном, как молитва, языке
он мне стихи зарытые откроет.

I. Петровский вход

Вторит арка
арке Триумфальной,
голубою синевою полна.
День Полтавский, дальний-дальний,
молодые времена.
И, глазами молодыми
ослепительно блестя,
скачет, скачет –
в славе, в дыме,
царь счастливый
в ворота.

II. Голосники

Голос на дно кувшина положил княжеский страж
в перекличке ночной.
Смех свой на дно кувшина положил княжеский
сын, отдаваясь игре.
Щебет на дно кувшина принесла летняя птица,

под кровлей возясь.
Купол, как мяч, голоса уронил под ноги князю
на гулкий порог.

III. Фреска

Вот светлая, высокая свеча
негаснущая королева Анна.
Мертва!
Уж девять сотен лет мертва
реги́на Анна,
Ярославна.

IV. Оранта²

Вся в плавном, величавом жесте,
в рассветных, трепетных лучах,
как зачарованная женщина,
на позолоте, в куполах,
она идет в старинном танце,
и шаг неслышен, взор глубок
под тающим, скользящим глянцем,
и в пальцах снежный холодок.

И кто-то из глядевших строго,
затерянный в туманной мгле,
и кто-то из искавших Бога
в полуденной, чужой земле,
губами дрогнувши сухими,
застывшими от немоты,
дал ей торжественное имя,
скупое имя в три черты.

² Мария Молящая, Оранта, Ора – по преданию, покровительница города
Киева.

И вздох твой – Ора,
и крик твой – Ора,
и свет твой – Ора.

И древний город,
крутогорый,
весь в черных вишнях,
весь в белом цвете,
и дик и светел.

А у нее глаза –
от карих слез.
А у нее уста –
от тихих слов.

А у нее чело –
от белых крыльев,
от скорбных крыльев,
просторных крыльев.

А у нее глаза...
А у нее уста...
А у нее – тоска.

А там, в степи,
до дна испил
всю молодость
недолгую
помолвленный
с недолею.

Из белой пыли –
белый конь.
В волне ковыльной
высок огонь.

Косынкой синей
облей порог.

Другому сыну
дай крест дорог.

И вздох твой – Ора,
и свет твой – Ора,
и слово – Ора.

И горсть земли,
пучок травы,
глоток воды.
Зеленый лист,
и ветра свист,
и птичий гам,
и княжий храм,
и отчий дом,
и синь кругом.

Оранта, Оранта! –
Чтоб вышел оратай
на поле –

на радость,
на волю, Оранта!

Оранта,
Оранта!

Руины
и раны
отмолит,
омоет
Мария

Оранта!..

V. Послы

София удивительно спокойна.
Ну, разве вызывают удивленье
лукавые, задумчивые люди,
что въехали в Ворота Золотые,
в которых открывается Восток?

И вот теперь – поворотить налево,
приблизиться неторопливым шагом, –
изобразив большое равнодушие
на своенравно поднятом лице, –
к застывшему вдали сооруженью...

Как будто никогда богослуженья
здесь не велись, и не было печали –
заботы о спасении души!
Здесь власть земная изъясляет волю,
земное благо вдохновляет речи,
земные цели осторожный разум
по колеям стремительным влекут.

VI. Ярослав

О предок мой, поэт, библиофил!
Из всех деяний только книги вечны,
а слава – и легка и быстротечна,
а битвы – только смерть и только пыль.

Был час ночной и одинок, и весел,
из лучших слов слагалась тишина,
и горница еловым пахла лесом,
и лесом шелестели письмамена.

Твой княжий лик сейчас совсем не княжий,
и в именах – простые имена.
Тебя опять оплачет и обяжет
на долгий труд чужая старина.

Заморские, заветные страницы!
На волшебстве замешан этот бред.
В верховьях букв сидят большие птицы,
в сплетеньях букв – разгадка и ответ.

VII. Дочери

На Запад – медленно, тревожно
(где нет ни снега, ни зимы),
как будто в путь по бездорожью,
к кордону Киевской земли
плывут три молодости князя...

Уже отец
рукою властной
слепые жемчуга дарил.
Бессонно, солоно, напрасно
высоких трав увядший запах
они вдыхали до зари.
На Запад... Медленно – на Запад...
С такими белыми плечами,
с застывшими в глазах ночами,
под злую, свадебную песню
(как их покой сейчас невесел!)
плывут из храма три невесты
чужих,
неведомых,
неверных,
венчанных Богом королей...

На Запад... Медленно – на Запад...
И только взгляд косит – назад!

VIII. Художник мозаики

Он был и рус, и бос, и прост.
Он мог бы год и год,
касаясь купола руками,
висеть, как птица.
Наконец,
он положил последний камень.
Мерцаньем красок отуманен,

забыв пространство,
с небесами
ведя стоцветный разговор,
сорвался вниз...

Его судьба
рассыпана по камню.

IX. Сын

Как помирить враждой разъятый мир,
привычное людское разобщенье,
чтоб главы величавой Византии
признали гордое величье храма,
что в Киеве стоит, отцом построен?
Решенья нет... О, неужели
глаза затем лишь, чтоб повелевать,
рука затем, чтоб сечь упругий воздух?
Так долг велит... А лучше строить храмы.
И много лучше – краской бирюзовой
водить по влажной, по сырой стене...
А сестры?.. Проще, но и горше сестрам.
Их красота повелевает царством,
им красота не для любви дана...
И вот опять встает противоречье
реки и берегов, ствола и леса,
природы и причуд... И трудно, трудно
постигнуть это юноше, что смотрит
тревожным глазом с северной стены,
большим тревожным глазом, с недоверьем.

1961

5 ноября 1943 года³

На широте громадного Днепра,
на высоте обугленной Софии
в тот день заложен стольный город Киев, –
как музыка, удары топора!..

1973

Последние зимы войны

Это черной печали тарелка
на стене в довоенном мелу.

Часовая крылатая стрелка,
обломаясь, угодила в золу.

Это гордые радиосводки –
после Курска и после Орла.

И ни крохи у нас, ни щепотки
хлеба, соли – зима подмела!

Это я – в бесконечной простуде,
улыбаясь и грезя в жару,
вижу: яблочко пышет на блюде...
Очень может быть, вовсе умру.

Это комнаты льдистые своды.
Это стужа в задумой печи.

Потонули в снегах огороды.
Будто раны, чернеют грачи.

³ День освобождения Киева от немецко-фашистской оккупации.

Сон о Востоке и Западе

Лежит страна Разлука
в гремучем далеке.
Сидит в окне старуха
с веретеном в руке.

Ни имени не помнит,
ни племени она.
Бушует мышь в соломе,
раздолием пьяна!

На выселках отчизны
прорухой-сиротой
гляжу в исходе жизни
за горизонт степной.

Целинные просторы.
Напрасная земля.
Мороз плетет узоры,
мне душу веселя.

Некошены поляны.
Невытоплена печь.
Овсы да гаоляны
цветут в родную речь.

И видимо далёко
отсюда – в никуда.
Сентябрьская осока.
Пустые невода.

И если глянешь хмуро,
не потупляя глаз,
твердыни Порт-Артура
затеплятся как раз.

Задымленные стены.
Приморские бои.
Траншеи под Мукденом
в запекшейся крови...

Но если глянешь строго
сквозь эту гарь и зной,
то Новгород высоко
взметнется над водой.

Задышит Ильмень синий
какая глубота!
Не будет под Россией
крылатая вода.

Не будет под Востоком
ни князь, ни свинопас!
О, Спас Льняное Око,
о, яроокий Спас!

И тары-растабары
про вольные года...
Московские татары!
Осадная беда!..

А если глянешь ясно,
тихонько поглядишь, —
над Киевом опасным
разлита гладь да тишь.

Облита лунным светом
Батыева гора.
В дубовый лист одета
сухая немчура.

Железные шеренги
и золото Ворот...
Горячая щебенка
полынью порастет.

Но молчаливо люди
читают между строк:
под Западом не будет
пылающий Восток!

Под Западом не будет
здесь даже воробья!..
Лежу себе в простуде
под ворохом тряпья.

И обо мне – ни слуха,
ни всплеска по реке...
Страна моя Разруха
в плакучем далеке!

1982

Тридцатая годовщина

Памяти матери

1

Когда я думаю о ней –
печали ради, страха ради, –
в том ветхом, траурном наряде
она мне кажется древней,
чем Богородица в окладе...

2

Пробудиться! припомнить! заплакать!
и вбежать в этот вымерший дом...
Одуванчиков вислая мякоть –
на гвозде, над немывтым столом.

Крошки хлеба; невнятного сора
горстка – в красном просторном углу.
В мешковину, не вспомнив узора,
кто воткнул – и отпрянул – иглу?

И глядит глубоко и зловеще
кот взъерошенный, зверь-еретик –
точно вышел из огненной пещи,
в одиночку из пепла возник...

1970, 1978

* * *

Королевский фасолевый цвет⁴
пробегают оградой узорной,
а за ним – этот яркий, упорный
взгляд, похожий на ягодный свет...

Издалёка прищурюсь и я,
загляну в тридевятое царство –
шерстяных лопухов государство,
где ничейная тлеет земля.

Здесь еще не ступал человек,
бузины ядовитого духа
не вдыхал, и не знает испуга
зверь крылатый, закутанный в мех.

Чья-то сильная бродит струна,
раскачала цветок пропыленный,
так строга, будто вся тишина
только ею была разбомбленной.

Так сладка, будто реки текут
золотого июльского меда.
Трудовая страда и свобода
никогда не кончаются тут.

Наклонившись – и плечи свело,
встав на цыпочки – ноги немеют, –
восхищеньем наморщив чело,
подсмотреть – да и то не умеет

⁴ Фасоль «королевский цвет» – декоративное вьющееся растение, цветущее алыми цветками.

полный страха туземец травы,
полный мыслей пришелец в крапиву –
плоть от плоти бурьянной листвы,
разметавшей горячую гриву.

кровь от крови фасоли тугой –
огоньков, проскользнувших на кровлю,
с сердцем, раненным темной тоской
и совсем непосильной любовью...

1978

* * *

Люблю отчизну я..
Лермонтов

Разве стану тебя упрекать?..
Мне ведь все под луною подвластно!
Эти очи спокойно и ясно
станут слезы чужие вбирать.

Станут так молчаливо смотреть,
будут так горделиво закрыты,
словно все уже судьбы разбиты,
словно нечему больше гореть.

Словно древний кусочек стекла –
чье-то зеркальце в поле лучистом –
отразил, как сгущается мгла
над зеленым и алым батистом.

Это едет страна на Восток,
на Урал громыхают заводы, –
только Волги роскошные воды
видит с неба беспомощный бог:

потому что чрезмерен глоток
ей привычной тоски и свободы, –
и какие ж молить небосводы
и в какой зарываться песок?

Нет, не стану я прятать лица.
Так и было: тащила кобыла,
и луна, обагрывая, светила
в молодое лицо мертвеца.
Нет, не стану я скашивать рот.
Вся в огне лошадиная морда...
Это вести с далекого фронта –
далеченько откатится фронт!

Далеченько солдаты уйдут,
унося черноземье в кисете,
Будут правы. А те – подождут,
терпеливые, тощие дети.

Будут правы. А те – подрастут,
зашумят, как пустырные травы.
На задах комендантской управы
отчий дом наконец обретут.

Нет, не стану родное крыльцо
засыпать – от испуга – забвеньем:
потяну жестяное кольцо –
петушиным заслушаюсь пеньем.

Воробьиный услышу восторг:
сколько хлеба повызреет к сроку!
Возвращается к югу восток,
возвращается запад к востоку.

Возвращается бог – на шесток.
На кусты возвращаются розы.
Возвращается плат – на роток.
Возвращаются в папки – доносы.

Возвращаются слезы – к слезам,
возвращаются дети – к могилам,
возвращаются деньги – к деньгам,
возвращаются рученьки – к силам.

Потому что – легко проклинать...
Потому что – страшны ли обиды?
Потому что – тебе ли не знать:
не сердца – только судьбы разбиты!

1975

* * *

Но что́ была бы я без языка,
который мне подарен от рожденья?
Куда текла бы тощая река?
И что могли бы сорные растенья
прошелестеть, когда бы не легка
была я на шальные восхваленья?
Когда бы не накинула платок,
когда бы не затеплила поленья...
Не с Дону – с моря дует ветерок,
просыпем соль, заварим кипяток –
и ты уже не столько одинок,
читатель этих говорливых строк,
свидетель моего долготерпенья...

1973

Голос под снегом

Так осыпалась нынче листва,
словно вся уже песенка спета.
Поседела на зорьке трава,
ни сердечка – в ветвях бересклета.

И на сердце – последняя грусть,
и на памяти – сны да приметы:
как стоял коробейником куст,
разнаряженный да разодетый...

Как свисала рябина в окно,
красной дёвицей в очи глядела...
Где вы, милые? Злое вино
иссушило мне душу и тело.

То вино – не разлукой зовут?
Не глухой, ненасытной любовью?
То вино – на беду себе пьют
да на горе – кладут к изголовью.

Но когда закружится метель,
вдруг увижу в сверкающем мраке,
как бела и привольна постель,
как ручей захлебнулся в овраге.

Как под снегом – седые птенцы,
как под снегом – жемчужные зерна...
Там живут гончары, кузнецы,
говорливо живут, непокорно.

Там горячая бабка моя,
наливая цветочного чаю,
говорит, что теперь соловья
кормят баснями... Не отвечаю.

Отвечает ей тихий роток,
отвечает ей малый ребенок:
«Заверни меня в старый платок
оренбургский – он мягок и тонок.

Отнеси меня в старый вокзал,
отнеси меня в поезд на Киев.
Там снаряд, говорили, упал,
он воронку на площади выел.

Он пронесся над нашей рекой,
он осыпался алой рябиной –
и теперь вот дрожит голубой,
серебристый и пепельный иней.

И теперь вот метели метут,
свищут в поле свинцовые вьюги;
и теперь вот Победу ведут
под высокие белые руки.

И теперь вот великий народ
порасправит великие плечи...»
Видно, снег набивается в рот:
не слышны мне дальнейшие речи.

Под снегами воркует ручей.
Вьются пчелы летящего снега.
Ай да тихий, родимый, ничей,
неживой шепоток человека!

Он укутал мое забытье
лоскутком колыбельного пенья.
Как запомнил мое и твоё
Сорок Пятое Лето Спасенья!

Как в кустарнике голом шуршит
на сыром пепелище рассвета.
Как разбитым сердечком горит
в отлетевшем огне бересклета.

Словно давность – опять молода
словно жалость лучится слезами...
Дорогие мои города,
долы, веси – лежат за снегами.

Но когда бы пройти этот путь
наказали мне снова и снова,
никуда б не желала свернуть
от спаленного дома родного.

1981

Август 1945 года

Вот так бы век – на насыпи стоять
в предгорьях Киева, у земляничной дачи,
и сытный дым паровика вдыхать,
и заходиться в кашле, точно в плаче.

И провожать лесные поезда,
и тайно приближаться к смолокурне:
туда дорожка – черная слюда,
но после небо кажется лазурней.

И пачкать руки маслом маслят
в бору сосновом. Хвоей золотистой
в нем высланы пригорки, и скользят
здесь тапочки из парусинки чистой.

И теплых шишек положить в карман,
кустистых, крепких, кряжисто-крылатых,
и для чего-то спрятать их в бурьян –
за хатой, в лопухах белесоватых.

А где змеится линия траншей,
я знаю: спелой головой поникла,
под листиком, укрывшись от лучей
и млея, луговая земляника.

А мне туда и близко не велят...
Там поживают мертвые солдаты.
Там, говорят, в дурмане мины спят
и рвутся, без войны уже, снаряды.

И видит око, да неймет зубок,
но вот, в цветах и мотыльковых травах,
скользит босой опасливый следок –
туда, к приюту ягоды кровавой.

Мы будем биты – это уж как пить!..
За вылазку, за полное лукошко.
Но я-то знаю: вечно буду жить,
и мне смешно – и боязно немножко.

И эти хрипы... кашляю до слез:
то старый голод сводит грудь и плечи.
Но даже черно-сивый паровоз
мне впрок: увозит хворь мою далече!

Мне впрок луга, тропинки и поля,
хотя б в студёных предрассветных росах.
Мне вечно впрок родимая земля –
в воронках, в землянике, в сенокосах...

А вот и яблочный медовый Спас
под парусами сводов деревянных.
И даже нищий держит про запас
две груши или яблока румяных.

Струятся свечи. И горячих ос
в церквушке душной грозное круженье.
А бабий хор высок и трехголос,
и клонит в сон ликующее пенье.

И мы выходим на церковный двор
к чреде калек, где потчуют друг друга
плодами окропленными... С тех пор
я не видала дружественной круга

тех деревенских замкнутых людей,
я не встречала шире урожая,
чем в этот август – после стольких дней
войны, что шла от края и до края.

Да, кажется, и нынче-то гремит
на море и земле дальневосточной.
А хор летит, и молит, и скорбит
о всех, кто на сверхсрочной и бессрочной...

И долго опаленный этот Спас,
увитый васильком и повиликой,
не сводит с нас широких карих глаз
в суровой тишине своей великой.

С тех, кто на море да в земле чужой,
с тех, кто теперь-то наконец-то дома,
где ласково в душистый этот зной
под ветерком чуть прядает солома...

1983

Прогулка

Это, кажется, пела зима,
заметала метелью широкой...
Я тебя попросила сама:
поведи меня дальней дорогой.

Переулком, овражной тропой,
где робеет прохожий случайный,
хоть бы той неживой слободой,
что, как прежде, зовется Гончарной.

Тем кладбищем, где тихо лежат
мама, папа, подруги, соседи.
Угадали меня... Сторожат...
Ах, как людно, как гулко на свете!

И блестит ледяная гора.
А во рву ворошат уголечки
вся из глины – жена гончара,
вся из пепла – священника дочка...

Как замешкались мы... Отпахни
в крайнем доме промерзлые ставни –
задрожат, замигают огни:
кто-то здесь собирается втайне...

Чей-то ужин забыт на столе.
Чьи-то книги на сломанном стуле.
А записка лежала в дупле –
отсырела в дождливом июле.

Этот почерк мне мил и знаком.
Как ликуют размытые строчки,
по ступенькам летят босиком
и на снег выбегают в сорочке!
Запах прели, и едкий дымок,
и такие бессвязные речи...

Как хрустален твой черный ледок,
как темны впереди твои плечи!

Как манит этот путь... А земля
чуть слышна за метелью сыпучей.
Но когда-нибудь лягу и я
под сырой терракотовой кручей.

И, уже не видна за горой,
прослежу затуманенным взглядом:
переулком, овражной тропой
кто-то плачет и машет рукой
и теряется за снегопадом...

1979

Весна 1946 года

Как на родине ярок рассвет!
За Днестром зарумянилось солнце...
Мне немного, мне несколько лет,
я – в чердачном, разбитом оконце.

То, что город – в развалинах, я,
может, вижу, но не понимаю.
Мне б сейчас услышать соловья,
говорят, прилетевшего к маю...

Мне наскучили эти птенцы,
что в дворовой пыли копошатся.
От салатной, лимонной пыльцы
злые пальцы мои серебрятся.

Эта жадность к тому, что живет:
обонять, услышать, наглядеться –
сводит скулы, и стиснут мой рот
прозорливую скрытностью детства...

Эта жадность – увидеть не то,
что, быть может, и не повторится:
дымный город, платка решето
на старухе, что перекреститься
собирается перед жильем,
перед тем, как просить «Христа ради», –
но стеречь, как сквозь грубый пролом
вьется первый вьюнок и ползком
по церковной струится ограде...
Но запомнить бестрепетный жест
первых листьев, ажурным кружочком
отделивших от всех, кто окрест,
ту березку, что ржавую жесь
пропорол – и белым височком
засверкала в моей синеве,
над безлюдным чердачным владеньем,
где я думаю о соловье,

о колесной сухой колее,
о бескормной кошачьей семье,
все иное опутав забвеньем...

1976

* * *

Мне говорят: где правды свет?
где жар обид? где морок быта?
Как будто голь минувших лет –
и та за красотой забыта.

Как будто утлая любовь
и скарб семейного наследства
велели мне: не прекословь, –
свежи, легки – не наглядеться!

И даже хворости следы,
и даже старости приметы
цветут лозой из темноты:
не прокляты, а лишь воспеты.

Где страх? Где стыд? Где чернота
глухой судьбы, сухой могилы?
Ужель беспечна красота?
Ужель бессрочны жизни силы?

Ужель и впрямь твой луг шумит,
ужель тоска равна свободе
и в подвенечном небосводе,
при свете дня, при всем народе,
земля с звездою говорит?..

1979

* * *

...Но ту босую, бедную тетрадь,
где на задворках ковыляет ветер
в густой крапиве, где дремотно светит
косое солнце в краешке стекла,
где в никуда тропинка пролегла,
минуя куст заржавленной сирени,
где на заборе маленькие тени
ребенка и седого мотылька
(в капустных жилках крылья и рука),
а день так долог, голоден и светел
и вечно жить велит, и клонит спать, —
я не к добру решила вспоминать
о том сухом, послевоенном лете.

1968

* * *

Ветер с юга — и сердцу вольней.
Нынче-завтра река разольется...
Я спокойна. Мне только родней
та земля, что горчайшей зовется.

Я спокойна. Меня не жалея:
горше плачется — слаще поется.

Южный календарь

В том городе я вовсе не живу,
но мне ль не знать: на монастырской свалке,
за рощицей, в сыром апрельском рву
цветут, как в Парме, влажные фиалки.

И так же нежно катится роса,
и все вокруг такое молодое,
что дискантами птичьи голоса
летят и бьются в небо голубое...

Я удивляюсь: отчего дубам
не зацвести?.. Давно ль остепенились?
Ведь в эту пору это было там...
А здесь – часы у всех остановились!

Я до сих пор в пиру да на миру
зову скитанье лучшею судьбою.
Но если... Впрочем, если я умру,
не все ль равно, что станется со мною?

И что – апрель, и что тогда – январь,
и что за век зажгут над головою...
А все ж – туда! Где я дышала встарь.
Лишь в той земле я стала бы землею!

Лишь в той земле я стала бы взлетать
кукушкой серой, вещью зегзицей –
и вам такие годы куковать,
как будто в поле вечность серебрится...

1969

* * *

Не пойдешь ты за гробом моим:
что тебе – в этой черной скворешне?
Ветка тополя... Привкус черешни,
да седой, как младенчество, дым.

Не ходи ты за гробом моим:
час не ровен – пожалуй, воскресну,
прогоню погребальную песню
старым пеньем моим молодым.

Я скажу: расступитесь! пора
мне бы с ним, да без вас, повстречаться,
порасплакаться, порасквитаться...
ах ты, боже: гляди – немчура

в лучший город вступает с утра,
отчий дом разоряет до света, –
я готова: разута, раздета,
словно – завтра, как будто – вчера...

Слава богу, что ночь коротка –
не жениться да в поле не скрыться!
И гремят ледяные копытца
в постромках ледяного возка.

1975

* * *

И мне приснилось: родина твоя –
едва ль не собственной моей дорожке...
Что сделала из моего питья
соль Черноморья?.. Струнные стрекозы –
стеклом, хлыстом, метелицей – по коже!
Осмелюсь ли? Приду ль еще туда,
где лебедь воронцовского пруда –
как смоль... Где скачет круглая вода,
где ранней, нищей, смугловатой розы
головка подвенечно завита?..

1973

* * *

Я твоей не желала любви
ни толики, ни крохи, ни капли.
Разве мало: мои соловьи –
без того – на ракитах зачахли.

Разве мало: по следу – собак
выпускает седой доезжачий, –
эка, выдумщик, барин, чудака:
разве скроешься, разве упрячешь

от тебя этот голос больной,
это хриплое, дошное чудо?
Хоть бы выпало снегу зимой.
Ан, всё изморозь – слякоть – простуда!

1972

Вновь я посетил...

Пушкин

Ах, этот блеск дырявого дождя,
исколотого солнцем... На рассвете, –
так мне открыли сведущие люди, –
взойдут здесь белопенные грибы...

Ну и колдунья – здешняя земля!
Придумщица! Хоть в лепке шампиньонов –
какие откровенья белизны,
расчета, дальних мыслей, своеволия!

Нет, неспроста я прихожу сюда,
неслышная, хотя бы раз в столетье.
И всякий день то камень нахожу,
то перышко заморское, то злак
внезапный... И ее – чертовку липу!

Тут некогда царица проезжала
с блестящими, веселыми глазами,
лицом в отца...

И дюжий студийоз
ей громыхал латынью.

Как доспехи,
валились в пыль пудовые слова.
Но, слава богу, лаврский перезвон
взлетал превыше тощего Пегаса!

Была эпоха красных каблуков,
буффонш, зеленокудрого барокко,
венгерских вин,
дворцовых сквозняков
и длинных войн –
от лени и скуки...

Но дереву – что сделалось?
Под спудом

опять дрожит победная листва
и птичий посвист. Мертвых воробьев
притворно, – я гляжу, – изнеможенье!..

Ну, здравствуй, липа!
Рощам преисподней
ты не уступишь жадной чернотой.
И все же ты мой век переживешь,
и даже мой немыслимый потомок
придет сюда – и различит грибной
глубокий запах, прелесть захолустья,
безлюдье и молоденькое солнце,
умытое дождем...

1968

* * *

...А старинного года свеча
все горит на сыром пепелище.
В колотушку слепую стуча,
так же тяжело безмолвствует нищий.

Этот город все так же высок,
весь из улиц кривых и нагорных,
и каштан осыпает в песок
лоскутки розоватых и черных

трехсотлетних мохнатых цветов...
Колокольня костистые плечи
подняла до сквозных облаков —
будто высохший крик человеческий.

1978

* * *

И.Р.

И выпало нам дивное богатство –
всё, что любили, разом потерять,
и в чистом поле беженцами зваться,
и в теплом пепле – родину искать.

Вдоль всей огромной да по всей священной
бresti, зажав победу в кулаке –
как будто окруженец или пленный
с последней пулей в мокнущем виске...

Ведь что ни смерть, то мысль о новой встрече
с отчизной, где опять цветет сирень,
как в тех руинах, гаснущих далече,
где над крылечком – ласточкина тень;

она навек приклеена к карнизу,
как к бездомовью – память о гнезде.

А я смотрю еще пока что снизу
на куст, на луч, скользящий по воде,

на огонь свечи и на разбитый кафель,
на сытый гуд гневливого шмеля...

А век – он мне подарками потрафил,
когда взметнул над крышей журавля.

Когда – какие вольные подарки! –
печалями печали утоля,
смотрела в синь сквозной Софийской арки,
а дале были минные поля.

Я так всегда смотрю на эти вещи,
как будто впереди еще – внимать
тебе, раскат полуденный, зловещий,
что даже мертвых мог бы растолкать,

что в землю вбил мой лучезарный город,
чтоб дух бессмертный из земли восстал, —
и оттого-то вечно будет молод,
кто был так гол, и голоден, и мал.

И оттого-то вечномолодыми
сойдем туда, где плавится закат,
где веет гарью, травами степными
и журавли возвратные летят...

1981

Дорога

Когда окончу страдный день,
среди хвойных опочив иголок,
простелется по нивам тень,
сухая, как на Ламе волок.

И с хмурой песней на устах
кургузый шмель – бочонок меда –
сверкнет в сиреневых кустах,
точь-в-точь как в лето недорода.

Точь-в-точь как в давние года,
вдруг задымится предо мною
Днепра недобрая вода,
руины Лавры над рекою.

На круче – вздыбленный каштан,
простерший ветви к Заднепровью,
цветет, как розовый туман,
как будто обагренный кровью.

На удивленье или страх
он мне запомнится недаром:
у мертвых улиц в головах
пожар, зацветший над пожаром!

И вьется тайная тропа
меж лебедою и крапивой,
где я, да птичья голытьба,
да дремлет кот под жесткой сливой;

оконце, зная перезвон...
Как вдруг – среди долины ровной –
очнусь под выкрики ворон
моей деревни подмосковной.

Какая круглая земля!
Как славно, что отчизна – длится!
И я плыву через поля,
где зреет черная пшеница,

где тот же – синий – небосвод
подобен раскаленной чаше.
А голос женщины поет
как прежде, молод он и влажен.

Поет любовь, поет тоску,
и даже зоркая разлука
на поводу родного звука
ступает тяжко по песку,

сторицей возвращая мне,
что было отнято до срока:
и дом, и паводок широкий,
людские тени на стерне –
все, что не сгнуло в огне,
а стало песней и дорогой...

1978

Тревожная весна (1981)

Наш Киев... пращур русских городов...

А. С. Пушкин

1

Но в эту ночь такая тишина
сгустилась на сердце, во рву,
в саду глубоком,
как будто бы – последняя вина,
как будто бы последняя весна
летит во мгле, не узнанная Богом.

Еще ничьей не тронула груди,
еще ничьей язык не опалила,
еще не время разводить чернила –
то время прежде было, позади...

Уже черемухи душистый лист
не ищет словом ветренным сказаться,
и птичий посвист, и любовный свист
не станут в черном воздухе пластаться.

не станут ум печалью беречь,
не станут тешить негой запоздалой,
и нашей жизни шелковая нить
едва сучится пряжей одичалой.

Едва ли ткется брачное белье,
едва ли шьются пышные одежды...
И медленно приходит забытье,
исполненное боли и надежды.

И вырастает многоглавый дом —
он звался родиной, он равен был отчизне...
Я узнаю задумчиво, с трудом,
я здесь была в иной какой-то жизни.

Хоть каждый миг я помнила о нем:
сквозь красный траур черноглазых вишен

глядело детство в арочный проем:
оттуда ли

набат чугунный слышен?..

Хоть каждый май высокий этот брег
я облетала мыслями, как птица,
не зная краше и привольней рек:
приснись же мне, славянская столица!

Сверкни веселым златом куполов,
мозаиками смуглых византийцев,
шелками лент и маками венков,
горошком строгих бабушкиных ситцев.

Введи меня – хотя б в последний раз! –
в шатер седого конского каштана,
позволь мне наглядеться про запас
на синеву под булавой Богдана⁵!..

Возьми меня хотя б в последний ряд
той Оперы... *За тихим за Дунаем...*
где – пусть поют, пусть просто говорят, –
а мы смеемся, хлопаем, рыдаем.

А нам всего еще по горстке лет,
но мы уж знаем: это Артемовский⁶
струит для нас

неугасимый свет
любви к земле истерзанной днепровской...

Но мы уж помним гневный «Заповіт»⁷,
и мы его всегда читаем стоя.

⁵ Памятник Богдану Хмельницкому на Софийской площади.

⁶ С. С. Гулак-Артемовский, автор оперы «Запорожец за Дунаем».

⁷ «Завещание» Тараса Шевченко.

И никому мы не простим обид:
такое детство выпало седое!..

И никому не скажем, что – родней:
русское медлительное слово
или эта, что стрекочет, как ручей,
поющая и плачущая мова...

2

И вот уж, не безмолвна, так – стара,
и вот уж, не беспечна, так – бессильна,
стою одна у старого Днепра
и вижу путь на Витебск и на Вильно.

И отчего-то знаю наперед,
что гарь и кровь – за этой ближней синью,
и теплый зверь тропы не разберет,
и ласточка карниза не найдет,
заглохнет этот влажный огород,
займется лебедою и полынью.

И у огромной вымершей реки
дитя укрыто лопушиной тенью,
и так его печали глубоки,
что ищет

хоть бы и моей
руки, –
а я не ведаю
пути к спасенью...

3

Свернулся свитком твой могучий век
и откатился в дали Прикарпатья,
к подножью елей, под крыло смерек,
к вам, горные, к вам, западные братья!

Но я там не бывала и во сне.
И смутно слышу:

сухо снег струится –
то беркут покачнулся на сосне,
то рысь взметнулась, зоркая, как птица...

И страшно мне... И тяжело вспоминать...
А на снегу уже густеют *тени*
забытых предков... Значит, помирать
пора?.. А день-то мартовский, весенний...

Апрельский день... И нет еще причин
кручиниться... Какой же тут убыток:
лишь сон!.. А он витает среди руин
и завивает закопченный свиток...

4

...И пахнет печь засушенной калиной,
и пляшет месяц на лучистом льду.
А я Гончарной, длинной Десятинной,
Софийской и Владимирской иду.

Ты помнишь: там балкон свисает в пропасть
и в мае конский пенится каштан...
Что миновало? Молодость и кротость?
Иль юность, преисполненная тайн?

И тополя – как пики – пламенея,
так высоко пронзают облака,
как будто там – маеток⁸ Кочубея,
богат и славен он издалека.

И ты глядишь таким счастливым взором,
как будто встарь, как будто это – я:
в коротком платье, с вишенным узором,
сурового крестьянского тканья...

Так правда ли, что этот город – вымер,
лишь горбится на солнечной горе

⁸ Маётюк – поместье, имение (укр.-польск.).

крестатый князь, заносчивый Владимир,
а я лежу в осоке, на Днепре?..

1978, 1981

**Балкон
над
пропастью**

* * *

В тот ранний час, когда пришла беда,
едва жива, я вышла на дорогу.
Июлем выжжена, белым-бела,
она упала к самому порогу.

Куда идти? Что делать мне – с тоской,
с собой, с июлем, с немотой, с любовью?..
Но широко вставал передо мной,
и рвал листву, и вспыхивал шиповник.

А воздух плыл медовым гудом пчел,
а степь горчила теплым, тяжким хлебом,
и непреклонно подорожник цвел,
седым копьём почти касаясь неба.

Дом поэта

Звон церквушки деревянной,
круглый голос отдаленный,
мех и сани, вырезные
дуги, лошади седые...

Дом поэта чист и ясен,
много света, певчих перьев,
книга каждая гордится
пышной титульной страницей.

Эти женские портреты:
что за краски! что за взоры!
Локон каждый так изваян,
что сиять ему навеки.

И такие косогоры
за окном, такие дали...
Снег румяный серебрится
и пылит вишневым цветом.

Только ель гудит и машет: –
Тоже скажешь! Я-то знаю
этой музыки деревенской –
упаси господь! – повадки.

Полуношница босая,
чернозубая цыганка,
то приносит волчьих ягод,
то грошовой скрипкой воеет.

Только раз она стояла,
уложив, как дева, косы,
как вдова и как невеста –
ночь и день у изголовья.

А потом трещала свечка,
мышь шуршала, половицы
рассыхались, хлопал ставень,
и долбили лед лопаты...

1969

* * *

И я увижу в зеркале себя...
Уже – как те: притворщица, старуха,
почти без зренья, вовсе уж без слуха...
Вдоль по сосне проскачет молоток, –
и этот влажный смрад грибного духа,
постель из пепла, глинистого пуха,
а рядом – дудка, скрипица, свисток.

1973

Горят торфяники (лето 1972 года)

Отпускаю тебя на восток,
провожаю до тульской заставы,
где еще мы по-равному правы:
я любима! – глотай между строк...

Я хвалима! Моя смуглота
обещает такое свечение...
Не дыши! – потому что движение
и душа, а не слово, с листа

воспарит – и заладит гулять,
понаклеив апрельские листья...
Золотая цена бескорыстья
так тяжка, что смогу ли поднять?

Не гони! потому что верста –
за последней верстою угарной –
и узнаешь Москвы допожарной
первый ставень и кипень куста,

где сирень голубеет, как лед;
но из торфа дерева и травы
поднялись – широки и корявы,
чтобы гарью затмить небосвод.

Чтобы славой пометить меня,
чтобы в это огромное лето
я была сожжена и отпета –
до пришествия Судного дня.

1975

И. В. Виноградову

Когда уже не вспомню слов,
какими – тосковала,
услышу город – тихий Псков
и лодку у причала.

Увижу звонницу – она,
как птица, белой грудью
на ветер ляжет – не нужна
окрестному безлюдью.

И, словно цокающий звук
былой скобарской речи,
пойму уключин перестук
и всхлип воды далече.

Кто там вдоль берега плывет,
один в ночной стороже?
Гусей тревожный перелет
от Запсковья к Мирóже.

Как будто вскрикнула вода:
ядро на дно упало?..
Не лях ли движется сюда?
Не степь ли запылала?

Не швед ли лязгает мечом?
Не немец – бьет в ворота?..
Осенним сыплется листом
с иконы позолота.

Доска-заступница пуста:
ни Девы, ни младенца, –
полощет ветер два жгута,
два белых полотенца.

Хотя бы кочет закричал,
хотя бы пес дворовый

завыл... Звонарь в бурьян упал
и видит сон суровый.

Он видит: выжжена земля,
а сам летает в небе,
а сам плывет через поля,
забывшие о хлебе.

Такая горькая земля,
что вот и мне не спится.
Вот тень вечерняя моя
на площади Детинца⁹.

Она б упала среди льнов
в синеющем июне,
когда б смогла избыть любовь,
затеplенную втуне.

Когда б смогла ее облечь
бессмертными словами...
Так отчего ж, псковская речь,
летишь за мной, как пламя?

И, разрывая темноту
и мерзлое безлюдье,
моршкой катишься во рту
и клюковкой на блюде

томишь, — и злая тишина
над мертвой Кутекрómой¹⁰
былого щебета полна,
расколотого грома...

1981

⁹ Детинец — Псковский кремль.

¹⁰ Кутекрóма — угловая башня Псковского кремля.

* * *

Что делать с сердцем, – бедное, в груди
опять поет и просится на волю,
туда, где дремлет клеверное поле,
которое вовек не перейти!..

Туда, где ты... Где улица одна
собою праздный город заменила,
взлетела ввысь и на лету застыла,
луной каленой вся озарена.

Где снег по грудь, но храбрые ручьи
скороговоркой, коркой ледяною,
стеклом скрипучим, утлою щепкою
хрустят всю ночь, и не видать покою,
а клен такой, что лишь взмахну рукою –
с кривых ветвей посыплются грачи.

Туда, где ты... А мой веселый дом
продут прохладой влажного рассвета.
И март гремит. Земля полураздета
и, как живая, дышит за окном.

Туда, где ты, и ты любим, а я
еще жива, еще не понимаю,
еще молчу, ещё не призываю:
любовь моя и молодость моя!

1969

* * *

Ты придумал такую разлуку,
что я вовсе без слез обошлась.
Я-то думала – смертная мука.
Я-то думала – вечная власть...
Я-то думала... Лучше – ни звука:
я уж этим огнем обожглась.

1970

* * *

Ах, разлука! Сухая наука!
Твой язык недалек, неречист.
Тишина остается от звука
да вот эта улыбка испуга:
щучий выплеск иль ивовый свист? –
черных вод круговая порука,
птичий морок, мушиная скука,
лес таков – не шелохнется лист,
и коль чем-то богата округа,
так всего-то: поджар и костист,
виснет дятел, оглохший от стука,
весь в поту, деревянный артист!

1974

Путь в Михайловское

А сороков-то сорок
мне видеть довелось,
пока блеснула Сороть
среди опущенных лоз.

И сорок лютых звонниц
звонило надо мной,
когда шажком паломниц
брела я в край льняной.

И крепостей-то триста
дымилось на пути.
У танка без танкиста
мне выпало пройти.

И берегом Великой,
и кромкою траншей,
поросших земляникой,
взлелеявших репей.

Под башнею Гремячей,
над гусельной Псковой
осеннею, незрячей
погодой дождевой.

Глубокими снегами,
сквозь ельник ледяной.
С застывшими руками,
с горячей головой.

И вновь на зорьке синей
гонима за порог –
путем всея России,
хлыстом ее дорог.

1983

Три стихотворения

1

Изноют плечи... Разве ж не люблю
вот тех дорог, веревок и котомок?..
А вот не сплю, а вот же слезы лью,
как будто я живу в чужом краю,
как будто я о родине пою
из самой тьмы моих глухих потемок!

2

Не за то я тобою любима,
что не можешь прожить не любя.
Не за то, что из смертного дыма
прадед мой – домосед нелюдимый, –
может, он-то и вынес тебя.

Не за то, что долбила я камень,
так что стоном гудела земля,
что сложила своими руками
эту красную нежность Кремля.

Не за то, что крещенской метели
ничего не знавала светлей,
не за то, что российские ели
мне казались всего зеленей.

Не за то, что хулила чужбину,
над ее злополучьем скорбя, –
но затем, что в лихую годину
это я – воспевала тебя.

Что, подъявля свой голос глубокий
и не зная печали больней,
это я обивала пороги
за безвинных твоих сыновей.

Что, покуда ты, щедрая, стлала
путь бессрочный на мерзлый Восток,

я на насыпи с хлебом стояла
и глотала твой черный песок.

Что мертвела губами сухими
и клялась немотою своей,
но поэзии страшное имя
хоронила от ласки твоей...

3

Ах, отчизна!.. Ненастные очи!
Оглянись! – чернолесье горит!
То ли кашлем задушен платочек,
то ли сыч, то ли выпь прокричит,
то ли в звездно-червонные ночи
вьется бабушкин серый клубочек,
то ли зычная ведьма хлопочет,
то ли гроб за оградой зарыт.

Ах соловушка, совушка, соня,
мягко стелешь, да жестко уснуть,
этих елочек колких погоня,
да подставы, да павшие кони –
костьяками усеянный путь.

Этот запах махры да укропа!
кот несет голодраную мышь...
Жарко дышит в загривок Европа –
финским снегом виски холодишь...

День пощады – а смуглые вербы
красноватой вязанкой горят,
клич победы – а вести о смерти,
обгоняя друг дружку, летят.
Тут и мне предназначено слово.
Тут и мне – золотое житье.
Я не зря со времен Годунова
к отступленью за Волгу готова

и зимы предвоенно-багровой
смутновре́мье помню твое...

* * *

— Любимая! — так пишется в письме. —
Любимая, мне чудится ночами,
что молод я, что волен я, что с Вами —
беда, и Вы приходите ко мне...

Я прихожу. На тридцать лет назад.
На триста лет. На вечность. Надеваю
пальто. По гулкой лестнице сбегая.
И гаснет свет в покинутом окне.

1962

* * *

...И будет так: уже без слов,
себя собой не называя,
меня ни в чем не упрекая,
войдет последняя любовь,
терновым венчиком кивая.

1979

Балкон над пропастью висит

I. УТРО

...Теперь турист
по крашеной брусчатке
спешит,
и слива тучная цветет,
и на пороге – баснословный год,
которого не чаял мастер Вóланд –
он был, как мы:
еще гневлив и молод,
и с добрым человеком не играл он в прятки,
а мир лежал в дремотном беспорядке...

Вон там окно
закреть забыло створку,
вон там щенок
от блюдца с молоком
прогнал комочек,
прозванный котом,
и тот улегся в зыбку – треуголку;
вот чей-то пальчик
клавишу нажал,
а в горенке – батистовой невесты
альбом амурный:
сердце и кинжал!..

Но зори – так еще розовоперсты,
Мельмот-скиталец так еще томит,
так тешится душой провинциальной,
что тополь под луной,
пирамидальный,
как саваном серебряным облит!
Но утро прогоняет этот мрак,
и вот он, цокот: смолк у коновязи!..
И щеки распылались, точно мак,
а ласточки

щепоть дорожной грязи
несут в голубизну...

Сырой овраг
дымится;
белым пламенем черемух
окутан узкий
навесной балкон...
Укор – иль страх
в ее глазах огромных:
зачем так рано
появился он?..

Но, что ни слово, – право, не всерьез:
поскольку говорится по-французски.
Но если б это вымолвить по-русски,
какое сердце б не разорвалось:

«Я буду ждать вас
до седых волос!»

Возок летит
на дальнюю войну,
в турецкие, оливковые страны.

От круч Днепра всего видней –
Балканы...

А он?
Он жив... Он, видимо, в плену!

И воздух ломок,
словно бы стрекоз
над заводью
стекольчатые крылья.
Чумацкой солью по траве – мороз.

С Подола веет
привозною пылью...

II. СТАРОСТЬ

А годы – пепел, вовсе не вода.
Весь в паутине
круглый зал для танцев.
И в ветхом кресле горбится беда.
Истлело знамя греческих повстанцев.
В окно стучится сербская страда.

III. В ИСХОДЕ ДНЯ, В НАЧАЛЕ ВЕКА

Уже на гóру взгромоздился банк –
готический, полуволшебный замок.
Об этом скучно говорить при дамах...
И в моде – Север:
Стриндберг, Герман Банг...

Еще шумит зеленый датский лес,
и капли датских королей – анисом
благоухают... Кругл и независим,
малыш в матроске на стремянку влез.

Там над плечистым шкафом – антресоль,
где славный
белый китель среди хлама,
пустые ножны, треснувшая рама
и лоща времени Васко да Гама,
тряпье, где дремлет шелковая моль;
диванные пружины и экран
каминный, что свое предназначенье
забыл... Резная форма для печенья...
Какое же лелеет умышленье
малыш, сбежавший от гостей в чулан?

Здесь то пылится, право, из чего
соорудит он катер или крейсер...

Поскольку, как, веревочка, ни вейся,
а к Моонзунду¹¹ выведешь его!

Морозной елкой тянет из сеней,
и дворник с бляхой «Царь-Освободитель»
с огромной хвоей входит: поглядите!..

До новогодья – семь метельных дней.

IV. НА ПЕЧЕРСКЕ

Крещатик ошалел от синема.
Но в Лаврской келье трудится изограф,
и столько ласки в греческих узорах
его орнаментального письма.

Рожок автомобиля. Перезвон
нагруженной, жестоковойной конки.
А он присядет под каштан в сторонке
и будет видеть море и Афон...

И, бодрствуя в незыблемой тени
могучего Успенского собора,
прогонит призрак голода и мора:
Господь, не дай увидеть эти дни!

«Заблудших чад Твоих благослови!..»

То голос Фрола вторит на Подоле.

И тянутся еще на богомолье
те, кто во имя ненасытной воли
утонет в братской, аспидной крови.

1987

¹¹ Моонзундская операция германского флота по захвату Моонзундских островов и уничтожению русских морских сил Рижского залива во время Первой мировой войны (1917).

* * *

Пришла и села. Счастлив и тревожен...

А. Фет. «Музе»

Вошла – сама не рада –
негаданно, не в счет.
Рассеянного взгляда –
косит – не отведет.

Как будто что читает
на городской стене,
как будто что-то знает
худое обо мне.

Как будто я неправо
весь этот год жила,
как будто злая слава
ее ко мне вела.

Как будто я хвораю,
не ведая о том,
и друга убегаю,
и слезы лью с врагом.

И сохнет мой шиповник
на дальнем берегу,
но губ моих бескровных
разжать я не могу.

И рук моих усталых
не в силах приподнять –
чернильные кристаллы
устала растворять,
кичиться темной долей –
чужою стороной,
острожною неволей,
любовью ножевой.
И будто за оградой
мне место отвели:

остуженной, крылатой –
в седых грачах – земли...

И поздняя дорога,
и жесткая кровать
проспорили у Бога,
кому запеленать

мои скороговорки,
прощальную тоску...
А может, это волки
завыли на снегу.

1979

Промотав столько лет, столько зим,
столько дымных, подтаявших весен,
я увидела взором сухим:
наступает зеленая осень.
И опять вислоухая тень,
изломавшись, легла на пороге:
это пылью кипела сирень
у остывшей шоссейной дороги.

То ли – облако, то ли снега
понависли над садом и лесом?
Плещет море иль сохнет река
за резною овсяной завесой?

То ли хрип, то ли рык, то ли трель –
все шумней меховое дыханье:
в черном бархате горбится шмель
над цветком, потерявшим сознание.

И тогда средь потухших ветвей
мне слышались робкие звуки:
это пепельный пел соловей
солнценоксную песню разлуки.

Это поздний шиповник зацвел,
столь малинов – душа на излете! –
чтоб последнее золото пчел
отзвенело в янтарной заботе.

Это я погружалась во тьму
леса, праха, крапивного сада.
Там, в древесном моем терему,
все, что только угодно уму,
навевает ночная прохлада...

1974

* * *

Н.Н.

Как будто первого мороза
рожок пронесся и затих...
Но все роскошней ваша проза
и прозаичнее мой стих.

И все таинственной дорога,
откуда натекает мгла...
Смотрю: в кустах чертополоха
сухая роза расцвела.

Ее залетным ароматом
душа, как в юности, пьяна,
сама объятая закатом,
сама – беспечно зелена!..

1976

* * *

Всяким словом твоим дорожу:
приложу ли к заплаканной ранке,
схороню ли в закопанной ямке, –
после с перышком жадным сложу.

После – правым трякну рукавом:
вспыхнут реки, и медные сосны
грянут в небо, и шальные весны
потекут черноземным ручьем.

После выйду, смеясь, на крыльцо,
помашу: ах, далёко-далече
промелькнет дорогое лицо
да согбенные, темные плечи!

Каждым словом твоим дорожу:
так дышу – не могу надышаться.
На пустую дорогу гляжу:
сколько влаги в полях – и между
залило... Как же тут разрыдаться?

Кто же высушит? Кто же сошьет
той вороне сверкающий траур,
кто же блин, хоть бы ком, испечет,
кто же высечет доблестный мрамор?

Каждым словом твоим дорожу:
то светлею, то разом смуглею,
выходя в снеговую аллею, –
то ли замертво в поле лежу...

1975

Не трону – ни веткой, ни вечным,
ни птичьим летучим пером,
ни темной, прерывистой речью –
моим серебром, серебром,
ни смехом, ни духом, ни взором,
живым сновиденьем в ночи,
и менее прочего – вздором –
укором у края свечи.

Увижу: стекло запотело,
и волосы так причешу,
как будто по зряшному делу,
с пустою заботой спешу.

Смешаюсь с толпою. С собою –
и хоть бы с тобой! – разминусь, –
я даже не двину рукою,
я в этом потом разберусь.

И если по талой, залятой,
по черной, по звездному льду,
по улице с ивой горбатой,
где каждый скворец – на счету,
в лиловом и тяжком закате
не чудом, так бредом пройду,
не шагом, так лётom крылатым, –
не бойся! У всех на виду
виновнее всех виноватых
я первой глаза отведу.

В марте

По мнению специалистов, нынешний Андреевский спуск в Киеве есть не что иное, как упоминаемый еще Нестором-летописцем Боричев взвоз – первая из дошедших к нам по названию улица Руси.

Из газет

1

Газетная безоблачная проза
здесь протрубила праздничный маршрут.
Живой тропой Боричева взвоза
здесь крашенный булыжник назовут.
Здесь выращена будет тубероза,
газон – добротной Англии лоскут...

Весенней лужи синюю пометку –
и ту, пожалуй, вытрут из-под ног.
И заведут вертлявую корчмарку,
«У старой липы» – нарекут шинок.

Доходный дом кичливого модерна
объявят замком. Скажут: Робин Гуд
шалил в округе... Короля, наверно,
в густой черте оседлости найдут.
Легенду о скупом домовладельце
шепнет не Диккенс – щедрый Вальтер Скотт:
мол, замок Ричарда,
«що мав Левине Серце»¹²...

как львиный зев малиново цветет!
Как из цирюльни – кудри винограда,
а вот разлапый украинский хмель
плющом назвался. Музыка из сада –

¹² У которого было Львиное Сердце (укр.).

и та из экзотических земель.
С чего б?.. Всего-то врач незначительный
тут жил, и белой гвардии росла
сухая ветвь; акация на плиты
роняла цвет –
да вьюга замела...

2

Мне больше нравилось бывшее запустенье
и в марте грязный, помраченный снег,
и ветхих галерей перильца, и ступени
прогнившие, и мхов зеленый мех
по крышам, и глухой мышиный запах
смиренной бедности, пугливой нищеты,
и тощий голубь на кленовых лапах,
и что ни двор, то пышные коты.
И фуксии, взлелеянные нежно
в окошках пыльных, стародавний хлам
на свалках, и вызывающий мятежно
петух, и дребезжанье по утрам
от Фрола неутешного, где паперть
кишела погорельцами, а люд
был полон веры: самобранку-скатерть
тут ангелы, зардевшись, развернут...
Полоски огородов на высоких
рогах – и не вскарабкаться! – горы;
дозоры тополей, а в синеоких
ручьях – горбушки вспученной коры,
и лаковые прутья краснотала,
колтунных верб страстные жемчуга,
булыжники, которыми ступала
еще Грицка Сковороды нога,
облупленное, дряхлое барокко –
оливковый, полузащитный цвет,
люкарна звонко выбитое око:
нет мочи видеть этот белый свет!..
И слякоть, и гремящие трамваи

на площади Контрактов, шелуха
подсолнухов, и огненные стаи
цыган, и гнезд вороньих вороха
над улицей, где пришлоgo народа
текла косноязычная река,
где по ночам от взрывов ледохода,
что твой орех, трещали берега...

1987

* * *

Не измены – но серые стены
привокзальных моих городов,
запах угля, и дикой сирени
отцветанье, и голос гудков.

Не измены – но хриплые звуки
немотой искаженного рта,
и теперь уже полной разлуки
через степь золотая верста.

1968

Нелюбимая – телом страшна,
нелюбимая – слишком заторна.
Нелюбимая – слишком вольна!
Нелюбимая – слишком покорна!

Нелюбимая так говорит,
как скрипят навесные ворота.
Нелюбимая в душу глядит
так, что смертная клонит дремота...

Нелюбимую ты не жалея:
эка невидаль – муки-разлуки!
Что ни кочет – по ней – соловей:
всюду слышит любимые звуки!

Нелюбимую ты не люби, –
эка, жадные руки простерла! –
а сведи к той кринице в степи,
что похожа на черное горло!

Поясочек удавкой завей,
добрый камень – да к жилистой вые...
Усмехнется работе твоей:
во степи все колодцы – сухие!

Нелюбимая – слез не прольет,
нелюбимая – песни не сложит.
Только ветер в трубе запоеет,
да ручей – точно косточку гложет.

Только пряди взметнула ветла,
да под небом – воронья икота...
Нелюбимые наши дела!
Нелюбимая – наша работа!

1976

* * *

...И так покажется пуста
земля – ни брата, ни опоры, –
как на Воздвижение Креста,
когда зверье уходит в норы.

Как в том продутом октябре,
когда над пепельной рекою –
дом пустоглазый на горе,
в котором я глаза закрою.

1974

* * *

А в проломе каменного лаза
соловей застенчиво запел, –
прилетел, наверно, из Ширази,
из ржаной Рязани прилетел.

Как при этих сумерках лучистых
страшно петь – и можно ли не петь!
Из глубин оврага серебристых
знойная черемуха взлететь

собралась – и сладостен и светел
вдоль тропинки глинистой, сырой
жаркий луч и белопенный пепел,
голос изумленно-молодой...

1977

К портрету Ксении Некрасовой

Поэтессы – с руками крестьянок застенчивых,
с озаренными давней кручиной глазами,
с полевыми в студеном кувшине цветами, –
поэтессы, не выученные наизусть!

Одиноко умершие,
ничего не умевшие, –
только слово, как птица, послушно руке...
Как устало глядит эта русая женщина
в этом клетчатом, синем, тревожном платке!

1963

* * *

А я тебя любить заране
не обещаюсь: я – прошла.
В заречном утреннем тумане
уже моя белеет мгла.

И мне тебя лелеять легче
не здесь, где плач, не здесь, где дом,
а там, где клен расправил плечи
и машет солнечным листом.

И в зной раскладывает тени,
возводит путнику шатер
и где – на выселках – сирени
заголубел уже костер...

Где бездомовье, где безлюдье
и где не знают о любви
ни пыль, ложась на перепутье,
ни мак, возросший на крови.

Где нет разлук, где нет отзыва,
где нет соблазнов и утех,
а всё без умысла счастливо,
и всё – ничье, и всё – для всех...

1983

Вечер в деревне

Дух антоновки – хладный и крепкий,
чернозема сухие комки,
и последней осенней сурепки
на меже молодые цветки.

Берега у реки поредели,
вдовый вид у крапивы; осот
рассылает по свету кудели –
то ли баба перину трясет...

Но под вечер за этой рекою
задрожит, зарябит полотно,
и взойдет над землей молодое,
деревенское чудо – кино.

И, грызя твердокаменный бублик,
мальчуган, заглядысь на экран,
из горячих арабских республик
пьет шипучий любовный дурман.

О, я тоже пригубить согласна!
Еду-еду – отнюдь не свищу,
вот пролью-ка репейного масла –
может, розу на камне возвращу!

О, я тоже могла б про такое
рассказать! Только душу смирю...
Я ведь тоже была молодою,
загорелою да завитою, –
разве я не про то говорю?..

Разве я позабыла, что этим,
громовым, золотым, черновым,

промелькну календарным столетьем,
где что́ — слава, что́ — пепел, что́ — дым,

не понять... И какую тоскою
за осеннюю эту тоску
расплачусь? И какую строкою
достучусь — и к какому виску, —

мой читатель, дарованный Богом,
мой судья — сердобольней меня, —
что стоишь, не дыша, за порогом:
то ль пугаешь, то ль ищешь огня?

И пока за соломенным стогом
красноватая всходит луна,
над каким бескорыстным итогом
наклонилась твоя седина?

И какая бессмертная сила,
вперекор земляному уму,
мой бессмысленный взор пригвоздила
к этой яблоне в черном дыму?

К ясным звездам, что в улицу нашу
так глядят: мол, вставай, выходи!
Собирай эту пыльную пряжу,
бабий скарб да ручную поклажу,
эти угли, и щепки, и сажу,
в мирозданье искринкой лети!..

1977

* * *

Ах, много ль зла в моем укорё?
И в старом смехе – много ль зла?
Останусь тенью на заборе –
как будто черная смола

ее приклеила, схватила –
сама из лесу натекла...
Я, видно, что-то позабыла
в избе, где новая метла

метет по-новому, а прежней
лозы веселой не слышать...
Останусь на ветру скворешней
осенним вечером стучать!

Воспряну при озимом Поле
худым заборчиком, щитом:
лежу в ограде, да – на воле,
и снег не тает надо льдом

моим, а корни зерновые
ветвятся в глинистую глубь –
в мои глухие, вековые
пласты, где из шмелиных шуб,

и струн, и пепла голубого,
из твердокостных хрусталей
такая выстлана основа,
такой гуляет суховей –

непроницаема для слова,
невыносимый для людей!..

1976

* * *

И сказать ничего не умела,
и подавно уже не спою,
как веселое белое тело
простирала на радость твою.

Как широкую печку топила,
как, босая, ступала жнивьем.
Никого-то я так не любила,
как вот эту ветлу над ручьем.

И когда ты ударишь по струнам,
бог Ярило, и скажешь: пора! –
я все той же походкою юной,
озираясь, пойду со двора.

Облекусь этой черною пашней,
теплой хвоей паду на порог,
чтобы ты, мой бессмертный, всегдашний,
об меня и споткнуться не мог.

Чтобы ты оглянулся: высоко
серый тополь листвою шелестит.
То ли к небу взмывает дорога,
то ли ласточка жгуче летит.

То ли дождь собирается: тучи
заклубились над старым дуплом.
А гармошковый голос скрипучий –
по лугам, по жнивью, напролом –

все поет про мои урожаи
да про яблони-груши поет,
обмираю, цвету, улетаю, –
отчего же рыдает народ?

Отчего ж в этой сладостной жизни
не проходит, дурманит и льнет
эта память о светлой отчизне,
по которой мой милый идет?

1980

Когда предстану (решето
платка – и дует в спину!), –
я вовсе не спрошу, за что
меня мой друг покинул.

Я вовсе не спрошу, к чему,
наперекор погоде,
чернела взору моему
ботва на огороде.

И отчего не сумрак роз,
не виноград по стенам –
по всей земле картофель рос,
как бы во сне военном.

И ладно ль старому веслу
лежать на мокрой крыше;
и долго ль царствовать числу,
и кто слова напишет.

И почему, родная дочь
земли, грибов и листьев,
уйду в сырую эту ночь
с душою, полной мыслей.

С душою, полной тишины,
предутреннего света,
чтоб возмущать чужие сны,
не ведая про это.

Чтобы сказать не собой –
и не к тебе любовью, –
а чьей-то гордою судьбой
и чьей-то пылкой кровью.

И чьим-то словом: не его ль
я на сердце носила, –

но как томила эта боль,
как эта боль томила!

Как отнимала у меня
мои моря и сушу,
чтоб стала я сильней огня,
сжигающего душу.

Огня, сжигающего плоть
полувоздушной речи...
Пора мой огород полоть,
накинув плат на плечи.

1980

Новогоднее

I

Так обошлась: без яств и без стола,
без добрых вин и без воскресной скуки,
что красит праздник. Просто свет зажгла
и комнату так чисто подмела,
что даже застудила руки.
И вот тогда я песню завела –
почти без слов, без музыки, без муки.

II

...А снег прилип к зажженному окну,
и в доме пахнет гарью стеаринной,
широкой елкой, коркой мандаринной,
и тлеет праздник, сумрачный и длинный,
но я еще в разгар его усну.
И буду видеть то, что наяву
не виделось и даже не бывало.
Вот масками, мазками карнавала
лоскутное пестреет одеяло –
его я темным детством назову.
Откуда звук, откуда мир возник,
чтоб рассыхаться музыкой старинной,
мерцать в свече, томиться скарлатиной? –
как хорошо, что мой живой язык
еще не мучим тайной соловьиной,
я так нема, когда кричат: внимлите! –
и бесконечен быстротечный миг,
и я опять последний ученик, –
вот отчего так бережен учитель!

1971

Творит добро не знавший зла,
и зло творит добра не знавший,
и в этом – тайна ремесла
и темный свет звезды упавшей..

Все не готово; все спешит
себя разъять, раздать до срока.
Поэту сущая морока
твердить: еще и кочет спит!

Еще и милый твой – в пути,
еще и почта не ходила,
а ты уж слезы иссушила
и запекла в своей груди.

А ты уж вышла на крыльцо,
в разливный луг, в пустые сени..
Какие солнечные тени –
сверкает – шлет твоё кольцо!

Какая сильная рука
у горла сжала полушалок,
во льдах хрустящих, широка,
река за рощу пробежала.

За этот впалый огород,
за спины сломанных черемух, –
а он, видать, совсем не промах:
все это знает наперед!

Еще не тщится зеленеть,
чадить роскошной лебедою,
тебя таить, и быть тобою,
и прах твой корнем одолеть –

лиловым корнем лопуха,
победным пламенем сурепки...

И только сор, труху и щепки
вода несет издалека.

И только милое лицо –
там, где гуляет бездорожье, –
тебя свело тугою дрожью,
кричит – и манит на крыльцо...

1978

Песня

Ты-то думал: меня – одолеть
этой жаждой, и сушью, и зноем?..
Ну, не я, так ракита звенеть
пойдется – над вечным покоем!

Ну, не я, так сивушный мужик,
в реве трактора, в полюшке голом,
обретет на похмельи язык,
чтобы сивку кормить разговором,
чтобы горсть голубого овса
рассыпать в борозду до восхода...
Не моя, так чужая коса,
слипшись с дегтем, украсит ворота.

Не моею рукой обовьет
чья-то нежность да чьи-то там плечи
и вино молодое прольет –
то, что я запасала для встречи,
для прощанья, для братства с тобой,
да от стужи, недужного зноя...
Мне-то что! Я всегда над судьбой
для победы – сдавалась без боя!

Погляди: горизонта черта,
как уста, стала узкой и красной.
Промолчу – но моя немота
никогда не бывала напрасной!

Прохожу между ржавых оград,
как слепая, – но вижу и внемлю...
Листопадные листья летят,
чтоб удобрить остывшую землю!

Погляди: луговой зверобой
не жалеет целебных соцветий.
И бегут золотою гурьбой
с золотыми лукошками дети...

1975

* * *

И будет – розов и коричнев –
кружиться лес над головой.
А я войду, как в дождь, в черничник,
зеленый, мокрый, голубой.

И вдруг пойму, что эти травы
и вздохи влажные земли
вольней, чем песнь, пышнее славы,
светлей мне на плечи легли.

В старой подмосковной

Чьих стихов неразрезанный томик?..
И уже под обрывом возник
этот красный охотничий домик,
черной девки задушенный крик.

Смугловатый блондин, сладкоежка,
как чадишь – хоть припрятан хитро!
Самохвал, богоравная пешка,
в переплавку – твое серебро!

Ты сгодишься мне в полночь слепую,
где, как зло, легкодумно добро, –
чтобы я в эту кровь голубую,
снег падучий да тьму земляную,
торопясь, обмакнула перо!..

1974

Лазурью райской светится цикорий,
озябший жерех мается в реке,
ворона на поломанном заборе,
в зубчатом – на плечах – воротнике,

сидит недвижно, – оставляя взгляду,
взамен всего, что прежде различал,
хоть малую, а все-таки – отраду,
хоть светлую, а все-таки – печаль.

Все так пугливо в зыбком и прозрачном
октябрьском свете; скрипнуло стекло...
Но это я – в окне своем чердачном –
слежу, как осень ломится в село,

и как раздельно смотрятся предметы,
как беззащитна и проста их суть –
как будто бы разуты и раздеты
и позабыты в спешке кем-нибудь,

кто брал с собою соловья да сойку,
попутный ветер – отсылал дрозду,
а вот пустую лейку-неумойку,
заржавленную, выбросил в саду...

А вот крапиве – предоставил сохнуть
и чернобылку – стлаться над быльем,
а вот рябине – ни вздохнуть, ни охнуть:
вся съедена проворным воробьем!

Но как зато блестит иссиня-карий
прекрасной птицы золотой глазок!
И как бренчит – как будто на гитаре –
котенок, что музыку превозмог

мурлыканья, вечернего разбоя,
шуршанья пыльной, мусорной листвы;

полевки меховою головою
уткнулись в землю: ай-да, головы

им не сносить — спесивым одиночкам, —
так чуток воздух этих стылых мест!..
А еж прибил подковки к лапоточкам —
стучит, не озирается окрест!

А все ж и ты — храни отъединенность,
покой — в душе, а в беглых пальцах —
дрошь,
холодным светом на ветру наполнясь,
какой-то мыслью, может, прорастешь,

холодным взором озирая дали,
тревожным слухом проницая тишь,
авось и утолишь свои печали,
авось и живу душу подглядишь

земли, что, разоренная, из лета
в такую стынь осмелившись шагнуть,
дарит тебе сухую суть предмета,
запальчивую, огненную суть.

1976

* * *

Чужую беду
руками разведу:
заколдую,
заморочу,
прочь прогоню,
дверь затворю.
А идет моя,
вся пьяным-пьяна,
как мороз, крепка,
как полынь, горька
отворяю ворота...

Как рука моя тиха!

1962

* * *

Это – там, в никогда, вдалеке...
Ты умрешь, я, наверно, воскресну
в той же комнате, узкой и тесной,
с той же пыльною книжкой в руке.

Истрадавшись недугом своим,
бродит мать – будто мачеха, злая.
Сохнет кошка от песьего лая
и сверкает зрачком золотым.

Я-то знаю, что мне – пережить
ваши тени, и стоны, и слезы.
Но кому-то придется – сложить
на груди моей мерзлые розы.

И волочь в эту йзбу с трубой,
где на славу натоплены печи...
Чью-то душу накинув на плечи,
налегке пролечу над Москвой –

серой птахой, седою золой;
стану ветошкой, пылью воскресной
в этой комнате, узкой и тесной,
где тоскует ребенок больной.

1974

* * *

Все снится: дочь есть у меня...

И. Бунин

Помилуй: это ли – обида,
проклятье дней, трезвон ночей,
что я избавлена от вида
смятенной дочери моей?

Что я избавлена от права
примером мудрым поучать,
не зная, где – дурная слава,
а где – бессмертия печать...

Что я избавлена от взора
ее неотвратимых глаз,
от сердобольного укора,
от лживой правды без прикрас,

от воспеванья юной доли
и – с замиранием в груди –
от присказки про это поле,
которое – не перейти...

Которое полынным прахом
засыплет сброшенную плоть,
когда – одна, с невнятным взмахом,
как будто огород полоть,
как будто обнимая землю,
в провал надела своего
сойду, чтоб прошептать: «Приемлю...»,
взгляну – ан нету ничего!

Взгляну – лишь окна дождевые
да ветлы серые косят,

взгляну – лишь кольца годовые
крылатой стайкою опят

увенчаны... И ты, природа,
всей гарью влажного огня,
всей пустотою небосвода,
чужая, дышишь на меня...

1977

* * *

Ах, здравствуй, пышное зверье!
Как ты обуто и одето –
и лап бесшумных коготьё,
и шубы яростного цвета;

и густошерстная трава,
и взмах небес – на месте крова...
А я пришла – не как молва,
а как единственное слово.

А я пришла – не как сестра,
не к братьям, вспугнутым и меньшим,
а так: дождейкой из ведра,
сухой пылинкой от костра,
лучом, случайно пламеневшим

на ваших шубах молодых,
в зрачках – игольчатых и темных, –
как на страницах черновых
моих деяний суесловных!

И я пришла не как раба,
не как жилец или хозяин:
пустынна мерзлая изба,
и даже жители окраин

ее обходят стороной,
особенно осенней ночью...

А я качаю меховой
разумной светлой головой,
поскольку вижу их воочью!

Поскольку вовсе нетрудна
лесная, травяная служба,
поскольку ведаю одна,
сколь непрочна такая дружба:

еще живого – с неживым,
еще не битого – с убитым, –
когда стою над бельевым,
ах, белопенным, кучевым,
лазурно-облачным корытом!

1975

Вьюга

Так дышать серебристым простором,
воробыиным зимовьем дышать,
будто катаньем, страхом, измором
брали нас – а не сдюжили взять!

Будто снежный, завьюженный город,
разметав крутогровье раakit,
на салазках с Владимирских горок
прямо к дымному морю летит.

К лысым скалам, где я вспоминаю –
ах, к добру ль? Ну конечно, к добру! –
как цветы по горам собираю
и смуглею на остром ветру.

Как в сухой, обожженной Алупке,
виноградную шерстью увит,
дом в бараньем стоит полушубке,
прямо в нищую душу глядит.

Разжигает не окна, а розы,
проливает не кровь, а вино,
и зеленые свищут стрекозы,
размозжив слуховое окно.

Растрвожив такие заклатья,
столько слез на глухом берегу...
Это серое юное платье
я на черный твой день берегу.

Расстелю для последней забавы,
перечту черновые грехи...
В эти алые перышки славы
положите мне ветку ольхи.

Я любила ее при дороге,
где грачами взлетают кресты.
Что ты – бледный – торчишь на пороге:

это – я, это я, а не ты!..

Я одна к черноротому югу
пролечу, распушив полотно,
и, впряжась в эту душную вьюгу,
постучу в слуховое окно...

1975

* * *

Выпь кричит – иль ворота скрипят
тем сухим, раздирающим криком –
будто кости на дыбе хрустят,
будто стаи голодных мышат
раздираемы филином диким...

Это я замечала сама:
так кричат на исходе сознания –
и не столь от потери ума,
как затем, что не ждут сострадания.

1974

Снежная гроза

И ты живишь без перемен,
и я живу без перемены:
все тот же восхваляешь плен,
все те же проклиная стены.

Все тот же радостный глоток
моей божественной свободы
мне снова легкие прожог,
а впереди – какие годы!..

Раздолье пухлой нищеты,
в ослепшей богадельне старость.
Цветут чернильные цветы:
еще на донышке – осталось!

Какая щедрая земля!
Какая дивная погода!
Под высоту небосвода
звонят, как в детстве, тополя!

Как будто в лужице – ледок,
как будто в доме – плещут внуки,
и в камень бабкиной науки
лихой вгрызается зубок!

А в нити бабкина тканья
опять вплетаются стрекозы.
А на окне – цветут морозы,
а в речке – пышет полынья.

А в печке – маковка огня,
а в поле – блещет огневица,
и чья-то круглая зеница
в испуге смотрит на меня.

Но эта снежная гроза
под Рождество глухого года
моя последняя работа,
твоя последняя слеза!
1975

* * *

Завидую своей девичьей грусти,
какою больше мне не загрустить.
Туман клубком катится по капусте,
белеет мелких звезд льняная нить
на отпылавшем, дымном небосклоне;
расстриги-церкви острогранный шпиль
как штык взлетает без креста; ладони,
и не коснувшись, понимают: пыль
так холодна, так зябко вдоль обочин
просыпана, что вовсе не грязнит –
ржаной мукою кажется, а впрочем,
в ней зернышко янтарное лежит,
мысль унося к лихому зерновозу,
промчавшемуся к дальнему селу...
А я смотрю на черную березу,
на круглую, кудлатую ветлу,
и мнится мне, что грусть и одинокость
зерна, дороги, позднего листа,
слетевшего на провод, эта строгость
безлюдья и затишья – неспроста:
они меня готовят к вящей доле,
в которой грудь мертва иль стеснена
не болью – жадной памятью о боли,
невозвратимой, горькой, как весна!

1986

Неблагодарность

Мне приносили лучшую еду
и на больничных маялись ступенях.
А я качала старую беду
на смугловатых сомкнутых коленях,

чтоб ты остался в памяти моей
в той превосходной степени сравнения,
перед которой разве сожаленья
достойны те, кто был ко мне добрей.

1973

* * *

Еще случится!.. Хвойного огня
я припасу. С полуночной дороги
войдут ко мне любившие меня,
как встарь, смеясь, окликнут на пороге.

Внесу вина: испить его дотла!
Его сама ступнями я давила.
Вот тяжкий хлеб – его сама пекла,
до желтых зорь растила, молотила.

Здоровье ваше, храбрые друзья!
Как хорошо, что брат похож на брата.
Как снег, белы. Седы... И только я –
черна: и сном и духом – виновата.

Один напомним: – Время хоронить.
Другой: – Так что ж она всю ночь просила?..
А третий будет маяться и пить,
но я его случайно пригласила.

И где-то молча грянут соловьи.
Цыганка взвост голосом гортанным
воронью песню... Нежные мои,
как сладок вкус последнего стакана!

Как больно расставаться!.. Как тогда –
в больничной тьме, в огне, в чаду вокзала:
взлетало солнце; падала вода, –
а я весь мир от сердца отрывала...

Но, оглянувшись в сторону весны,
где были прежде города и страны,
всего-то я увижу: как красны
и взмылены гривастые каштаны.

И, не коснувшись старого Днепра,
вдруг обожгусь о выжженные плиты:

ведь я не смыла конского тавра
незамиренной, вздыбленной Тавриды.

Метелица! Красавица! Смелей!
Пока цыганка надо мною машет
лохмотьями, пока сухой ручей
звенит на дне моей пустынной чаши, —

не надо помнить мартовской Москвы;
лечу туда, где ржавая ограда,
где досыта железа и травы,
где больше мне ни зернышка не надо!

Где нет уже ни ночи и ни дня,
а небосвод к земле копьём притянут
и вся отрада: больше на меня
они, мои бессмертные, не глянут.

1972

* * *

А он был весь – из бархата, из пуха
кроволапых черных лебедей,
когда в нагретой белизне Гурзуфа
поил своих задымленных коней.

Когда в лазури ливадийских линий –
в прощальной, звонкой нежности моей –
узлы лиловых, вспененных глициний
казались продолженьем кораблей.

А я, уже обуглясь от свеченья
гудящего в тумане маяка,
пригубила густого молока
на набережной, белой от волненья.

Наш курс – на север! Это – недалеко...
Взметнется пыль украинских степей.
Новомосковск. Приблудное барокко
дощатых, продырявленных церквей.

Мешки с овсом. Кривое Запорожье.
На юго-запад свищут поезда!..
Но кнут в руке уже пронизан дрожью:
гусиный пруд – пернатая вода.

Покуда там грохочут океаны,
тут разлилась такая тишина...
Орла и Тулы медленные страны:
еще черно-зеленые поляны –
лесостепная, скрытная весна.

1973

* * *

Это ты – в каторжанской работе.
Это я – улыбаясь, иду.
Это клочья бессмысленной плоти,
а не темные листья – в саду.

Это ты – будешь помнить и верить,
что – воскресла, что стану свистать...
Как заслышишь, что кружится нежить,
выйди в чистое поле гулять.

Как завидишь, что носятся розы
над сухою твоей головой, –
ты у первой у встречной березы,
скинув шапку, недвижно постой.

...Это я – с каторжанской работы,
возвращая бумажную пядь,
скинув плащ, допотопные боты,
пораздвинув и хляби и воды,
десть землицы пришла занимать!

1975

* * *

Этот русский анапест, что плачет во имя
любови,
в темной шали крест-накрест, живет не в эпохе –
в крови.

А эпоха ему не соперница и не жена:
ничего-то не ведает в лунах и струнах она!

Это я – заплуталась в разлтых совиных лесах,
в тех трехрядных, трехструнных заречных
ночных голосах.

Все-то кличет меня за ворота сырая гармонь,
все горит на болоте приветный осенний огонь.

Все-то бабка колдует и дымные травы варит,
«И тебя не минует!..» – мне гиблую долю
сулит.

И меня не минует последняя эта весна,
что в кибитке кочует, – а щеки белей полотна.

И меня не минуют железной дороги огни.
Кто мне руки целует, не видя, как пусты они?

Я стою на порубке, а слышу и шелест, и свист:
кто погиб не на шутку, особенно нынче речист.

Эта мощь, эта слабость – ужели для жизни
дана?

Наливай же, анапест, щербатую чашу вина!

1982

* * *

Когда лежала не дыша,
убитая тобою,
слыхала крики дележа
и музыку разбоя...

Но был безлюден светлый дол,
когда над головою
шиповник медленно зацвел,
стократ воспетый мною.

И так разумны в этот миг
в своей предстали неге —
безмолвно мыслящий тростник
и темных ив побег.

И — так свежа и глубока —
под глинистой горою
текла бесшумная река,
неся мой плот с собою...

1976

Не говорю тебе прощай.
Не говорю тебе помилуй.
Еще и чайкой сизокрылой
сверкну над морем невзначай.

И, провожая теплоход
на светлом северном закате, —
и то припомню я некстати
ту землю, что набилась в рот.

А если выпадет — кружить
в январский день метельным снегом,
над этим старым человеком
начну — вдоль улицы — тужить.

А если будет мне вольно
одеться лиственным нарядом,
я встану так — я встану рядом, —
чтоб видеть узкое окно.

Рябины черное вино
прольешь, как будто я — в застолье,
но не собой, а только болью
твоей — и страхом заодно.

Но не печалуйся: легка
река притворного забвенья,
а голос траурного пенья
так свеж, как возглас петуха:

как встарь, опять кричит зарю,
весь полон хриплого восторга...

А я опять темно и долго
(хотя б теперь она умолкла!)
всю ночь с тобою говорю...

1979

В отчизне я... А это значит – снова
полет листа березы золотого,
и темный омут – лучезарный пруд,
в котором струи древние текут.

И тина – бородой лесного деда,
и двух лягушек горькая беседа:
такая осень, что они молчат,
а в хвойном небе – топоры стучат.

Там бродят дятлы – точно лесорубы.
Зачехлены громов литые трубы.
И мертвым сном уснул Илья-пророк,
как был: в груди – огонь, в руке – серпок...

Но лета бабьего еще летают сети,
и так прохладно и тепло на свете,
что я, пожалуй, босиком пойду
к тебе, мой луг... Еще репей – в цвету.

И я, как песню, вспомню эти строки:
«В отчизне я...» Соседские сороки
за мною вслед, держась земли, летят.
За мною вслед – старинным мыслям в лад.

И что-то есть заветное такое
в косноязычном, ласковом покое
полей, что даже брошенный комбайн
исполнен грез и юношеских тайн.

И ржавчина так сыплется с железа,
как пыль листвы – в сухих глубинах леса,
где катится стальной клубок ежа
в овраг, тихонько фыркая, шурша...

В отчизне я. И потому, как прежде,
живу во тьме, в разлуке и в надежде

и вовсе ничего еще не знаю
о том, что – плачу, мыслю, умираю...

О том, что жребий мне начертан в небе:
мечтать о славе и тужить о хлебе
и хоть бы чайкой – в тучу колотя –
просить для поля – сытного дождя.

Просить для моря – корабля и ветра,
для воинства – победы и бессмертья...
И засыпать в траве у кузовка
горячей земляники – на века.

И, слыша боя ближнего раскаты,
бежать туда, где – сгорбленные хаты...

И вечно – меж листвою и травой –
мелькать льняною, русой головой.

1981

* * *

...Но такого, как нынче, бессилья
мне еще не случалось знать.
Вот наклею пчелиные крылья —
стану низко и сладко летать.

Стану думать: гречишного меда
в пенном поле легко ль наберу?
Стану знать: луговая природа
так влажна и тяжка поутру!

Успокоюсь недалёким зимовьем,
роздых дам трудовому уму,
чтоб жужжать над твоим изголовьем,
чтоб в дощатом дремать терему.

А что сроден он будке собачьей
и что в мерзлую землю зарыт, —
ничегошеньки ровно не значит,
ни о чем еще не говорит!

1976

Не Божий дар, а сердца простота...
И вот пыльцою веет золотою
от утреннего танца мотылька
над лопухом и мутной лебедою.

И вот уже крестьянская весна
тревожится, что дремлют яровые...
А в этом доме я живу одна.
Но так светло здесь, кажется, впервые.

Вот стол и шкаф и с вышивкой комод,
а в полотно воткалось столько мыслей:
что, мол, уже лоснится огород,
что выгнал клен пучок измятых листьев.

Они пока что сжаты, как гармонь,
и лес в опушке вешнего тумана.
Но долго ли – и розовый огонь
займется и рассыплется багряно.

А в той низине, что бежит в луга,
в листе капустном – раковине моря –
ах, долго ли! – круглятся жемчуга,
окатистые, годные для горя.

И долго ли – в умолкшее окно
вдруг постучатся, что пришли за мною –
кроить мое льняное полотно,
украшенное строчкой голубою,
и ладить парус...

1980

Во льду змеится полотно...
Железной пасмурной дорогой
куда мы едем?... Все равно.
Но ты любви моей не трогай.

Чтоб эти руки целовать
с такою болью святотатца,
ты должен с родиной расстаться
и сердцу темному солгать.

И ты страны моей беги,
где ни избы и ни колодца, —
земли сухой, где дымно вьется
костер пылающей пурги.

И ни привета, ни письма,
ни малых чад, ни злой подруги,
где я одна во всей округе:
я — да обильная зима.

Я — да лихие голоса
ветрами вздыбленного снега.
Страшна мне поступь человека.
Милы мне милые глаза.

Поет рожок, манит свисток —
там, где грохочет полустанок,
где смуглая толпа цыганок
цветет и едет на восток;

где, может быть, стою и я,
где, может быть, и ты со мною, —
и веет гарью и тоскою
заснеженная колея...

И мнится мне: встает заря,
играет луч, плывут деревья —

коралловые ожерелья
рябин – иль грозди янтаря...

И видишь ты: совсем темно –
от запада и до востока.
И поздней жалости морока.
И горькой старости вино...

1979

Засуха

Ни буковки о том – в горячем небе;
ни зернышка – по мартовской весне...
Но что ни поле – это весть о хлебе,
а что ни хлеб, то память о войне.

1983

Сумерки

1

И выпадет – калиткой отсыревшей
неслышно щелкнуть – спрятаться во тьму,
и выпадет – щекою заалевшей
прижаться к полю, к лугу моему...

2

Темный шорох травы неказистой...
Сена клочок – на скрипучих возах.
Да неяркие звезды – на мгlistой
синеве: как снежок в небесах...

1979

* * *

Тихо светит по всему миру...

Гоголь. «Страшная месть»

А то, что было снежною грозой,
теперь скатилось черною слезой.
И все-то мысли – там, на Украине,
и даже вид серебряной полыни
невыносим, и стебелек седой
и горький дух аптечный – не забвеньем
грозятся всё как дымом затянуть,
а сердце жгут... Догадкой иль сомненьем
измаяна надорванная грудь...

И ты, народ, безмолвствуешь. Язык
в корнях тысячелетних ищет слова.
Но даже Вечность – сжавшись – не готова
в себя вместить тот погребальный миг.

И ты, неотомщенная земля,
когда вскипишь могильной земляникой,
какая красит минные поля, –
увидишь старца за кровавой книгой,
услышишь крик:

— Но он такой великий,

сей грех,
что не могу молиться я!..

И снова тихо светит
по всему
безлюдному, покинутому миру.
Не спит колдун в высоком терему.
Проносит Днепр рокошущую лиру.

1987

Сказки

* * *

Я пишу тебе письма мои
с той окраины нежной земли,
где нам встретиться не предстояло.
Где волнение черных дубрав,
опоздавших к цветению трав,
целый мир предо мной оправдало.

На медлительность ржавых часов
ты не сетуй. Я в несколько слов
умещу все, что будет, – взгляни-ка:
чернозем, чернозев, чернозов, –
чтоб вошел этот влажный покров
кучерскими усами овсов,
белолицым цветком земляники!..

1971

* * *

Такая ночь, такая благодать...
Родись счастливой – не родись красивой! –
чадолюбивой, сытой, молчаливой,
а запах клена, сладостный и горький,
мне вовсе не пристало вспоминать...
Но так люблю!.. О, как тебе сказать?!
Язык мой горд, а разум – нищ и слаб.
О господи, сожги мою тетрадь,
мои помарки, те ржаные корки,
а мне оставишь только поговорки
всех деревенских, голосистых баб!

1968

Свирель

Ну, подумай: простая свирель.
перелет пустотелого звука...
Это юбками машет метель,
это бродит под окнами ель –
кличет голосом милого друга:

— Выходи!.. — Выхожу на заре.
Как огромно сухое объятье! —
Погляди: вся земля в серебре,
ты б накинула темное платье!

Ты б простилась... Из этих-то мест
нелегко воротиться обратно.
Все ль забыла?.. Березовый крест, –
поцелуй-ка его троекратно.

Дашь мне молодость: эти возьмешь
ледяные вороны седины.
Там, куда ты, слепая, идешь,
все — к лицу, все — краснó, все — едино!

Скажешь – дом, скажешь – рай,
скажешь – скит?
Крот да червь – полон рот домочадцев!
Месяц соком вишневым залит,
дудка спит, песья косточка спит,
чернозубые лошади мчатся!

1974

Далекий день

Быть может, это голод озарял
сухую предвечернюю истому...
И тень от дома открывает дому,
как все-таки он дряхл и даже мал...
И я едва одолеваю дрему.
Когда бы так – чтоб глаз один дремал,
зато посильно было бы другому
следить, как прыгнет кот на сеновал,
чтоб там убить – конечно, *наповал*
худую мышь, и шевельнет солому...
Вот клевер головою покачал;
вот пес процокал по крыльцу гнилому...
И царство – спит!
Но подлежит не слову –
захороненью в глубине зеркал...

1977

Грустная буколика

Забуду: на дудке играя,
что пел мне мой славный дружок?
Увижу: пастушка чужая
и вовсе чужой пастушок.

Что делают дети природы
у старых небес на виду!
Как будто с болотной охоты,
устало и мокро пройду.

Что делают древние дети!
Что вспомнил молочный зверек?
Развитые кудри, как плети,
висят вдоль березовых щек.

И пчелку на ниточке водит
какой-то безбожник хмельной,
шиповника сердце находит
ее хоботок ножевой.

Видала! Всю вечность – видала
такую вот гладь-благодать.
Сама потихоньку свивала
гнездо и веревку – и кладь

сама по-хозяйски сложила,
в окрестность реки увезла.
Луна терпеливо светила
в подгнившую щепку весла.

И, выдюжив эту лихую
работу – под крик петушка,
ликую, ликую, ликую,
завидев в окне пастушка,

завидев его собачонку,
его луговую красу

девчонку, девчонку, девчонку,
что пляшет в декабрьском лесу!

Ложится под старой сосною,
смывает румяна со щек...
Что знаешь? Что скачешь за мною
болотною, гиблой тропою?
Что плачешь, молочный зверек?

1976

* * *

Я-то знаю: по границе ада
возрастает певчий райский сад.
Он совсем не там цветет, где надо.
Нет, не там, где люди говорят.

10 сентября 1997

Мифы Эллады. Марсий

Он был сатир, пастух, коровий бог.
Почти как Велес иль крестьянский Власий.
Ты скажешь: нет его в иконостасе?...
— Но как свирелит между наших строк!

Он был смешон. Позорно проиграл
своей свистулькой – лире Аполлона.
Своей жалейкой... Но листок зеленый
навек к полой дудочке пристал.

Она растет из луговой земли
где – тростником, где – камышом, где – ивой...
Он подобрал тот перелив счастливый
в эгейской, златосолнечной пыли.

Он поплатился: заживо содрал
с соперника поверженного кожу
Феб-Аполлон, что слова возалкал,
чтоб встало звуку в страх и в огорожу.

И, смуглую, ее повесил в грот
уроком неразумному дерзанию.
Но, точно б не поверив состязанью,
живой тростник за Марсия поет.

Живая ива узкие листы
простерла к зачарованному гроту,
и наш камыш ведет все ту же ноту,
что Марсий – пленник страстной немоты.

Он не поэт, он – то, что было до :
он вроде бедной жертвы иль предтечи
размеренной и гармоничной речи,
пред коей флейта – то же решето!..

Но только на рассвете зазвучит –
в Карпатах, Альпах, где-нибудь под Истрой –
печальный голос флейты серебристой, –
там, далеко, во Фригии гористой
отзывно кожа Марсия дрожит...

Петровское (у Ганнибалов)

Ах, головушка, вольная воля!
А всего-то и ведаешь ты:
на подоле июньского поля –
с золотою головкой цветы.

Да трескучее пенье лягушек,
да зеленые гривы в пруду.
Наваринец иссохший из пушек
ввысь палит, если в гости иду.

Если, выкрав храпящую тройку,
гикну, свистну, хлестну лошадей:
ну-ка, милые, трогай – в сторонку
беспечальной любви моей!

Где хранили меня от заботы,
от речей, что лишь тень-на плетень,
этих окон пустых переплеты
да юнца белозубая тень.

1976

Два стихотворения

I. Осень 1830

Красавица! Благодарю
за взмах ресниц, за знак согласия,
за переменчивость твою,
за осень, за сентябрь, за счастье.

Приволье утренних картин.
Коня упругое движение.
Деревня. Солнце. Карантин.
Старинных мыслей возвращенье.

А по ночам горит свеча,
как желтый лист, как лист багряный,
и выступают из луча
виденья, будто из тумана.

Служитель дерзостный любви, —
он завтра мертв, а нынче весел, —
проносит плащ, как черный ветер,
и шпагу в голубой крови.

К британским мглистым берегам
крадется смерть, но кубок пенный
роняет звон, рождает пенье;
печально имя: Вальсингам.

А рыцарь беден. Скуп барон.
Поэт сокровищ и подвалов
лукавым отблеском металла
уже по горло обагрён;

седой и крохотный, как гном,
в огне ночном играет драму...
Но погляди: уж за окном
мороз окутывает травы.

И колокольчик на ветру
звенит. И сани у порога.
Пора! На север, к январю
легла пустынная дорога.

II

И поделом! И поделом!
Он это знал, когда смеялся,
когда за праздничным столом
с хрустальной чашей подымался.

Он знал свой час, он знал в тот миг
(зачем влекла его опасность?),
когда он к женщине приник,
что всех враждебней и прекрасней.

Она была – как облака,
глядела длинными глазами,
его тоска – ее рука
его словами и слезами

еще влажна, еще жива,
еще отыщет постоянство,
и пощадит ее молва
и лебединость, и лукавство.

Он знал: ему не получить
охранных грамот и прощенья,
когда слагал в своей ночи
жестокосердцу восхваленье.

Он видел: взмост воронье,
когда, взволнованно-спокойный,
так высоко и так достойно
ронял достоинство свое.

И пробил час, и засверкал
прощальный луч, и свет, и иней.

Он мстил, и гибнул, и страдал,
и был сражен. Он сам повинен.

А ты все ищешь на снегу
проталину его дыханья...
А ты все ищешь на снегу
причину странного незнания...

Зачем поэты так добры?
Зачем вверяются неверным?
Зачем смешны? Зачем щедры?
Зачем заклеены доверьем?

И каждому – короткий век,
и тот как будто в долг отпущен,
и бесконечный человек:
«Дай слово. Ты мне веришь, Пушкин!»

Но, слыша шорохи беды,
мы глухи, слабы, своенравны,
и, кожей белою бледны,
мы все доверчивы, как мавры.

* * *

Михайловское!.. Плакать, плакать
под соснами, под звездами, в тиши,
и в Сóроти вечерней долго плавать,
и темные тревожить камыши.

И на исходе северного лета
с самой судьбой смешать черновики.
Здесь немотой измаялись поэты.
Здесь дети декламируют стихи.

1966

Река Великая

Здесь люди так добры, и так просты
их строгие, замедленные речи.
Большое солнце смотрит с высоты.
Простор январский бел и бесконечен.

А там течет Великая река, –
напрасное, старинное прозвание:
она неширока, неглубока, –
но это не прозвание, а призвание.

Здесь кровь текла великая. Беда
великая по городу шагала.
Здесь рать текла великая. Вода
рвалась и алым цветом закипала.

Пойдешь по льду, по голубому льду –
услышишь сквозь морозные кристаллы
столетнюю, стожерлую пальбу
и черный звон сторукой синей стали.

И льду – красно. И горлу – горячо.
А пядь земли – невидимая малость.
Но за холмом, за лесом, за плечом
великая Россия начиналась...

* * *

Земля лежала под корявым льдом,
а небосвод был дик — лилов и светел.
Черно и одиноко за холмом
шло дерево, ссушенное ветром.

А я входила в незнакомый дом,
бревенчатый, дремучий, допотопный,
дышала на узорчатые стекла
и чай пила с морковным пирогом.

Была там печь-ворчунья, но тепла
для рук моих усталых не жалела.
И песенка по горнице текла
и к горлу подымалась неумело.

И речь текла: — В былые времена
был край наш горд, был страх ему неведом... —
Я вспомнила: война, война, война —
с ливонцами, с поляками, со шведом.

И я глядела в дедовы глаза,
псковские, одинокие, льняные,
сквозных и пенных прядей белизна
так утренье окрашивалась ими.

А я пирог оранжевый брала
с улыбкою, с охотою, с печалью
и память одичалую гнала,
а память вырастала за плечами:

деревня, и покинутый окоп,
заросшие, пустынные траншеи,
и алая, кровавая морковь —
как сладко дети лакомились ею!

А в поле мутно зрела лебеда,
лебедушкой ее мы называли,
и женщины дремотно бормотали,
что лебеда с водою – не беда...

Пскова

А ты что скажешь, тихая Псковá,
вся в камушках, вся в утках краснолапых,
в косынках белых... В беленьких церквушках,
построенных не Богу – просто так.
Так вырезает добрая рука
из дерева
лошадок деревянных:
Все на потеху людям!
Этот труд – не труд,
улыбка...
Летним днем
иду по берегу.
Щебенка. Камень. Песок, покрытый тощей
муравой.

Заборы. Гроздья кисловатых яблок.
И пес бредет неведомо куда,
на солнце дальше по-стариковски щуря
глаза...
А на Пскове – все женщины стирают.
В косынках белых женщины стирают
мужчинам всей земли.
Плывут рубахи,
усталые холщевые рубахи,
и дышат полной грудью.
Облака
над головами медленно проходят.
Скажи мне, сколько лет тебе, вода?
И сколько лет здесь женщины стирают
и тяжкими руками напрягают
любви и верности крутые паруса?
Скажи мне, сколько слез в тебе, Пскова?..

1965

* * *

И будут снова – сосны до небес,
простор безлюдной, вспаханной равнины,
небес смоленских желтоватый блеск
и ржавый куст растрепанной рябины.
И будет путь. Его давным-давно
мы одолеть пытаемся с начала.
И нам сегодня родина в окно,
как в первый раз, неслышно постучала...

* * *

Хорошо мне лежать под кустом,
обрывая пылающих ягод
то ли гроздь, то ли глиняный ком,
чтоб рябину от праздничных тягот

поизбавить!.. Ее маета
в предосенних лесов оголенье
поутру утоляла дрозда, –
я сама ведь летала туда,
где притворное пестуют пенье,

обучают рыдать соловья;
научают косому полету:
вижу – цапля стучит по болоту,
где гортанных лягушек семья,

рокоча, разгрызает орех
и кладет кастаньеты за щеку...
Сколько хлеба, а сколько – припёку,
мне слышать, да подсчитывать – грех!

Хорошо мне лежать под зонтом
медных трав и соцветий медовых.
На горе загорается дом,
чьи-то тени на скамьях дубовых

поминальный иль брачный обряд
затевают – и дымные чаши
задевают за головы наши
и, как жадное пенье, бренчат!

1975

Интермедия

Памяти М. Т. Г.

Опять летят, танцуют голоса...
Не ровен час: придет – а нету мочи –
тот, от кого мне дивные глаза –
светлее дня, темней цыганской ночи.

Тот, от кого – беда или вина? –
die alte Liebe, erste, letzte, grose...¹³
Я рассмеюсь: – Забыла!.. Я больна...
Я б для тебя купила папиросы.

А он: – Постой, метелица моя,
дай наглядеться!.. Лучше и не знать бы:
там, в глубине дворянского гнезда,
в нагретой тьме крыжовенной усадьбы,
так неподвижно движется вода,
что слышно: бродит мачеха твоя...
а впрочем, бабка... Эх, перечитать бы!

— Но эта чаша выпита до дна!
Ты б поспешил. Не видишь: дело к ночи...
Какой же там козлиный сатана
так пошутил, что музыка пьяна,
что льются эти солнечные очи?..

А он: – Налей... Налейте мне вина!
Там, подо мной, такая глубина,
что нету мочи,
помнить нету мочи!..

1973

¹³ Старая любовь, первая, последняя, большая (нем.).

После дождя

Мне ль по разуму правый твой гнев,
темный окрик и злая досада?
Я, цветочное платье надев,
оглянулась – и вышла из сада.

Там вокруг простирались поля,
и уже у колючей ограды
я слышала голос шмеля –
просто струнку, без всякой надсады.

Было видно, что хроменький дождь
пробегал, потому что лощина
уронила мне мокрую гроздь –
то цвести порывалась калина.

Я и прежде-то – пролитых слез,
на беспомощных елочных лапах,
не стыдилась... Дневной сенокос
источал удивительный запах.

Так ли ныне беда велика?
Вдруг и впрямь у ветлы придорожной:
«Перемелется – будет мука!» –
молвит голос, ржаной, осторожный?..

1973

* * *

Закрывать глаза, катиться вспять,
в траву сухого лета,
но отражение оторвать
от бедного предмета!

Не тронуть милое лицо
ни розгою, ни кистью,
зарыть приморское крыльцо
в песок, в сухие листья.

Пусть идешь себе живой,
не замедляя шага.
Пусть расстрелянный конвой
зашьют в обноски флага.

Но эти желтые цветы
и рыжие обои
твердят, что льется с высоты
пространство голубое.

И что не ветер шелестит
на нашей кровле жестью,
но ангел крыльями шуршит,
давась благою вестью.

И что в обглоданном саду
не мышь кричит совою,
а лебедь плещется в пруду,
да ты, да я с тобою!

1975

* * *

Что мне делать с бессмертьем твоим:
ведь и там-то — тебя не увижу...
Этим старческим слухом слепым
ведь и там ничего не расслышу!

Будешь ты в самом пышном углу
зачаженного смолами рая;
я — нырну в эту снежную мглу,
смугловатая и молодая.

А предстану — скажу: это он
был виновен в кошунственном даре,
это он мне раскачивал звон:
сколько мужества в каждом ударе!

В гордом плаче, в пернатых словах,
в той трубе, что летит над судьбою...
Это он мой спеленатый прах
положил, Судия, пред тобою.

Мне ль жалеть быстротечной любви
да костей, что — подавно! — истлели,
если в горло мое соловьи
от его доброты залетели?

От его хриповатых речей,
от кнута и всклокоченной пены...
Дай воды мне, иссохший ручей!
Красной розой обрызганы стены.

1975

Розы

Вечерний сумрак мартовской весны
они мрачат иль тайно озаряют.

Мне розы темно-красные страшны:
как уголь, как бархат, траурно сияют.

Загадочен их пурпур и глубок –
под колдовскою дымкой седоватой,
и каждый их крылатый лепесток
вещует славу и грозит расплатой.

И мнится: казнь, секира, эшафот,
густые капли королевской крови,
и в ужасе отпрянувший народ,
и Господа содвинутые брови...

12 апреля 1998

Старая икона

Шафранного, оранжевого Спаса
задумчиво художник рисовал.
Две щели глаз – раскосых, хитроватых.
В немых устах, подобно черной змейке,
скользит улыбка. Краснота щеки,
степями, ветром, зноем опаленной, –
набегом и пожаром. Синь и смоль
скупого волокна бородки острой...
Не Спас – монгол.
Не Спас – татарский хан,
властитель многоумный и опасный,
что требует не августовских яблок –
голов,
седых и русых...
Ой, художник!
Как губительно бывает вдохновенье,
как, подымая человека к Богу,
от Бога прочь уводит –
вниз,
к земле,
к ее неправоте, беде, пожарам,
оранжевым и черным – будто Спас.
Вот этот. Узкоглазый. Медноскулый.

И ты идешь бестрепетно,
скорбя,
по угольям...

1964

Глиняная птица

Я гнала молодую козу
на луга, что всех дальше и глуше,
где границей меж влагой и сушей
бог плакучую выбрал лозу:

бог, развесивший нам бирюзу,
бог бездомный, крапивный, лопуший,
что скрипачит нам в самые уши;
поясок затянувши потуже,
свищет рыбку из высохшей лужи
да сверкает пылинкой в глазу...

Я гнала сладкоежку-козу
в те луга, где – ни влаги, ни суши,
но глядят земляничные души
на английских кровей стрекозу.

На изящную, тонкую стать,
сухопарость и негу полета...
У меня ведь простая работа:
то, что с возу упало, – поднять.
Крупноспелые ягоды спят,
древоносные травы восходят,
словно душевные косы до пят,
отягчают, дурманят, томят,
на запретные мысли наводят:
то, что с возу упало, – сберечь,
то, что в доме негоже, – припрятать,
завести, ну, не то чтобы – речь,
но молчание к слову присватать.
Вырыть яму, присыпать золой...
Кто хозяин – во чьем огороде?
Видно, что-то такое в природе,
что пошлют не за кем-то – за мной!

За моею дырявой сумой,
за козою и глиняной птицей, —
чтобы я возвратила с лихвой.
Я всегда возвращала сторицей!

Я всегда ведь не даром брала:
не громила сады-огороды,
лоскуток домотканой свободы
ни с чьего не срезала крыла, —
а, осилив и доли и воды,
этот старый, ушедший из моды,
у прабабкиной прялки нашла.

1975

Триптих

1

И тесно стало мне
в твоих широких мыслях,
как в теремном окне,
как в снегопадных высях.

И скучно стало мне
в твоём крутом объятье.
Ступаю по стерне
в медовом легком платье.

Бегу, куда глядят
глаза мои большие.
И вороны кричат,
как лебеди ручные.

2

Вот и стала хозяйкой лихою
с древней складкой глубокого рта.
Возрастила полынь с лебедою,
а твержу, что пьяна и сыта.

Замесила дорожную глину,
а твержу, что – крупитчатый хлеб.
Разогнула высокую спину –
вижу, месяц идет на ущерб.

Отпылали весенние годы,
налетают глухие года.
А веселое дело работы
не покинет уже никогда.

3

На скатерти белой
круглится каравай.
По травушке зеленой
спешит в сапожках Май.

Невестины сережки
навесила ольха.
Горбатятся в окошке
мурлыкины меха.

И с песнею ревнивой
влетает лютый шмель.
Под яблоней и сливой
запенилась метель.

И козлик в огороде
бородкою трясет.
Веселое в природе!
Богатый будет год!

Расплаканная ива
полощется в реке.
А я-то – говорлива!
А снег уж на виске.

А я-то работаща.
Не помню ничего.
Кую подковку счастья
для дома твоего!

1982

Ель

Что за ночь! что за пыл! что за праздник!
хриплый звяк бубенца у ворот, –
только ель надевает подрясник,
словно ждет ее нищий приход.

Словно я доведу ее к месту,
где огни зажелтеют, как мед,
где жених поджидает невесту
да в сусальный глядит небосвод.

Зарумянятся ангелы наши
и, с мороза в наш теплый закут
залетев, виноградные чаши –
то ли жаркие слезы прольют.

Словно нету для вас расстоянья,
словно, глянув из хвойных ветвей,
голенастый вещун расставанья,
тощий вран, землемер, богаты –
чернокудрый творец мирозданья
нежно крикнул над крышей моей...

1976

* * *

Памяти матери

Опять без сна мне маяться во сне:
ищу огня – и не нашарю спичек,
и кто-то входит в комнату ко мне,
молчит, а будто кличет – не докличет.

А после гладит голову мою,
и я дремлю, и не промолвить даже:
— Утешься: я по-прежнему люблю,
я та же, я жива, я только краше!..

Как скоро я ее переживу!
Не оглянусь – и голова седая.
Она придет, как встарь, как наяву, –
застенчивая, нежно-молодая,

отвергнет хлеб, и соль, и то вино,
что берегут для праздничной беседы,
и вдруг шепнет: «Ну до чего ж темно!»
И – мне: «Уже недолго до победы...»

1972

* * *

Не закатаешь к осеннему небу
этих черных, бессмертных очей...
Так и жизнь пролетит – на потребу
этой дудке трухлявой моей!

Так и слезы прольются – всухую.
Так и кровь утечет – как вода.
Хоть врага бы – в уста поцелую:
это мне не составит труда!

Это мне нипочем – расставаться
каждой жилкой и каждой строкой...
Это мне лишь забава – стучаться
в рай, обшитый корявой доской!

1974

Братьям меньшим

Памяти Р.

Где твоя меховая душа?
Изумрудные, темные очи?
Где ступаешь теперь не дыша,
по какой аравийской полночи?

И какие же домры бренчат
в тех песках, недоступных навеки,
где уже пред тобой не грешат,
не морочат тебя человеки?

Твой гитарный, твой гусельный звук -
бессловесная музыка сердца
все искала податливых рук
господина себе, совладельца.

Что ты знал о январской Москве,
о моей неприветной столице?
Хоть бы мышь прошуршала в траве,
коль тебе, как совенку, не спится...

Я могла бы тебя возвести
к мозаичным дворцам фараона,
где тоскующий лев из горсти
сыплет золото Тутанхамона.

Так роскошен, безмолвен и мал –
рода царского мягкая рухлядь,
есть поверье: ты видел астрал,
ведал: с голоду людям опухнуть...

И поспешно унес мою хворь,
заметая хвостом своим лисьим
дымный след полыхающих зорь,
горький чад угасающих мыслей.

Неприлично тебя поминать
желтой свечкой пред русской иконой.
Я робела о младшем рыдать
перед ласковым Пантелеймоном.

Отчего же, прощаясь с тобой,
оставляя открытыми двери,
уповаю: неслышной гурьбой
в час последний грядут мои звери?

Взмост голубь, скользнет моя рысь
по стволу голубеющей ели...
Благодарные звери стеклись
к домовине – худой колыбели,

чтоб вести в крутобокий ковчег,
оглядев: всех ли братцев – по паре...
Нет, не выплыл бы ты, человек,
без такой вот теснящейся твари.

Мне напомнят: то – Ветхий Завет,
одиссея брадатого Ноя.
А мне чудится: солнечный свет,
влажных струн рокотанье родное.

Ведь в глухой одиночества час,
в час разлуки, тоски дерзновенной,
о, как пусто, как страшно без вас
в этой Богом палимой Вселенной!

8 февраля 1994

Последний путь

Даже слезы – и те не нужны:
все здесь впору – не сухо, не знойно.
Как уста глубоки и важны,
как легли мои руки спокойно.

Отплываю к истоку пути.
Еле вижу, не помню, не внемлю.
Зверь подземный в подземной горсти
принесет первородную землю.

Принесет запасную траву,
поведет в молодые дубравы, –
словно где-то за Тулой живу,
где дубы лысовато-кудрявы:

потому что апрель слабоват,
начинает совсем неумело...
Только черный висит виноград
с терпким духом, и звать – «изабелла».

Только сладкие комья земли, –
а земля, словно небо, с овчинку, –
позасыпали очи мои,
закружили корявую льдинку,

закружили пустую ладью –
эти стружки и шляпки металла, –
потому что ведь душу мою
хоронить никому не давала!

Потому что еще погляжу,
чем закончится эта кончина.
Потому что, хоть смиренно лежу,
а не лемеху и не ножу
покорюсь, земляной кулачина,

богохульный копальщик-мужик,
овцегурный небесный владыка!..
А камыш – это тоже тростник,
моего ожидающий крика;

восходящий над ликом земли,
затаивший волнистые звуки...
Оттого так спокойно легли
эти легкие умные руки.

Оттого-то совсем не страшусь
к этой влажной траве наклониться.
Оттого-то ни с кем не прощусь,
коль придете со мною проститься!

1978

М. и А. Василевским

Я никуда не уезжаю,
ничуть не уезжаю я.
И он вполне подобен раю,
вокзал, где плач и толчея.

И вот уж тянется предместье
за пыльным солнечным окном;
худой подсолнух на разъезде;
барак, назначенный на слом.

Утиный пруд; муравный дворик;
на клумбе жгучие цветы;
и дым — он сладок или горек,
опять не понимаешь ты...

И женщина в обвислом платье
проходит с тяпкой в огород.
Гармошка вспыхнула некстати
у вечеряющих ворот.

И голубеет рубашонка,
и, озираясь по пути,
фигурка малая ребенка
бредет — с котенком позади.

И отрывается от нивы
и резво движется к селу
комбайн, а сумрачные ивы
плывут в тумане, как в мелу...

И никуда ты не уедешь
от этих трав, от этих шпал.

В разлуку яростную метишь —
в любовь бескрайнюю попал.

И научил себя забвенью,
и не глядишь уже окрест,
а все ж, по щучьему веленью,
ты сам – пылинка этих мест.

Ты сам – та сизая поляна,
та голубая колея,
и в волнах дымного бурьяна
кружит крапивница – твоя.

В безлюдье, думаешь, безвестье
да в нети вольные уйти...
А все ж на солнечном разъезде
очнешься – мысли посреди.

И о тебе взметнется щебет,
и о тебе рокошет лес:
— Гляди, и впрямь куда-то едет.
Сюда! И только что в объезд...

1983

* * *

Эта глушь... Сухомятные строки, –
не польстится церковная мышь! –
разнесут серебролюбки-сороки.
Скрип пера, пустозвонная тишь...
Дивный скарб у ноябрьской дороги
я взяла, – разве тут различишь,
что черней в этой певчей мороке:
лыко, дранка, прогнивший камыш,
хлебный мякиш, ледок на пороге
иль сусальное золото крыш?..

1974

* * *

Что толку с гордой головой
идти вдоль улицы чужой,
по мостовой, по черновой,
безлистной —
даже воробья
не различишь над головой!
Но так живу,
но так смотрю,
но так смеюсь,
но так люблю,
как будто я любима им.
А я ведь издавна — бедна,
а я ведь исстари — одна.
Дойти б до дна,
глухого дна,
такого слова, как — одна...

1962

* * *

Разлука! Что ж она со мной
творит — безумствует, курочит;
как в горле высохшем клокочет,
слова нежнейшие бормочет, —
какой еще расплаты хочет,
какой расправы надо мной?
Как сквозь январские метели
грозится смертною судьбой, —
пока не станет в самом деле
зияньем в мыслях, болью в теле
и головой седой.

1970

* * *

Так себя горделиво жалеть,
так себя отпевать безутешно,
черным углем на донышке тлеть,
малой птицей посвистывать нежно,

чтоб затем, взяв последнюю гроздь
золотого, в крови винограда,
вдруг понять, как легко мне жилось,
как привольное сердце рвалось,
как уже невозможна пощада!

1972

Вечер

Последний луч погас – и бузина стемнела,
а миг назад – какой густел рубин!..
И золото пшениц отяжелело,
как под дождем намокло – потускнело,
и лес сомкнулся, пиками вершин
пугая небо...

Но озерным оком
еще синее ясный василек –
среди колеи, на выселке далеко,
за нивою, без братьев одинок,
и седоватым кустиком широким
кружит на стыке глинистых дорог...
А хмель, как бы щербатую колонну,
обвил черемухи засохший ствол.
Ему б лепиться к знойному балкону,
плющом бы слыть и мандолины звону
внимать, и меховеть, и благосклонну
к влюбленным быть... А он в лесу расцвел.
Но вот уж ввысь и вдаль по небосклону
подпасок-месяц, как серпок, пошел.
Еще снежком присыпанный, прозрачный...
В малиннике зеленом – кутерьма
последних бабочек в наряде брачном.
Все глубже небо. Но еще не тьма,
а полусвет, а полусонный лепет
гераней влажных – осыпают цвет,
и дымный пруд, и неурочный щебет,
с закатом перепутавший рассвет...
И царь-репей с серебряным подбоем
свекольного бутона – среди крапив –
уходит в ночь – как будто перед боем,
закован в сталь, суров и молчалив.
Пора и нам...

1980

Сергею Козлову

А по осени вышли грибы.
На пеньках – молодые опята.
И у крайней, замшелой избы
в огороде – лиловая мята.

Я, наверное, тут поселюсь.
Чистой тряпкой протру половицы.
Буду слушать осеннюю грусть.
Припасу себе пряжу и спицы.

Припасу себе в йзбу кота,
припасу себе в подпол мышонка,
И – прощай ты, моя маета
да разлука, чужая сторонка!

Потекут молчаливые дни,
в лес клубочком покатится пряжа.
Вот носки – для внучонка они,
вот башлык – для праправнука даже...

Вот и вам, дорогие мои,
то ли присказка, то ли побаска.
Вот зимы голубые огни,
вот и старости хмурая ласка.

Вот и несколько строчек моих
по складам кто-то тихо читает.
Сколько в поле чужих и родных,
никогда он из них не узнает!

Сколько в поле упало цветков,
сколько кос у российского лета...
Мой косарь и подавно готов,
разнаряжен, да что уж про это!

Я о том, что оставлю тебе
золотую и синюю краску,
дармового мурлыку в избе,
желудей колокольную связку

на дубу... Им бы в пахоту лечь –
и пробьется зеленая поросль!
Но гляди: уплывает за печь,
и седеет, и молкнет мой голос.

Он дымком домовитым плывет,
пахнет жаркою корочкой хлеба,
залетает листом в огород,
достигает далекого неба.

Опускается медленно вниз,
жадным хмелем шуршит у окошка.
И глядит: грибники подались
в лес, а сами-то меньше лукошка.

И глядит, что картошку копать
понукают сентябрьские зори...
Никуда не хочу улетать –
ни в приветное небо, ни в море!

1981

В мае

Козленка вздыбленная тень:
рогатый нимб над головою...
Разлуки ветхая ступень,
как половица под ногою,
скрипит, а слышится – струною...
Вот так – когда померкнет день,
вот так – когда глаза закрою –
увиджу: снова над землею
пылит шмелиная сирень!

1975

* * *

Неурочно гремят соловьи:
как и быть с этой песнью постылой?..
На околице родины милой
встречу темные очи твои.

Встречу слово, которого нет.
Лисохвост в головах колосится,
и звенит яровая пшеница,
золотая, как солнечный свет.

И лежат голубые шелка
синих рек или южного моря.
Погляди: все, что надо для горя, —
предо мной, потому и легка

мне дорога... И белый выюнок
вслед за мною опять увязался.
Ничего, что мой голос прервался
на мгновенье: как в норку залег.

Вот он талой клокочет водой,
наливаясь весеннею силой,
чтоб лететь над твоей головой,
над околицей родины милой.

1980

Сказки

1

Там, в Шварцвальде, – холода.
Бродит темная вода.
Чернолесье да туман.
Это – Гауфа обман,
это длится детский сон:
мчится Михель-плотогон,
мастер каменных сердец:
keine Liebe, kaltes Herz!¹⁴

Вот бы Михеля найти:
боль скукожится в груди!

2

Сошью себе обновку
на свадьбу на твою.
Счастливую подковку
в ладони затаю.

Счастливая подковка,
как денежка, звенит.
А с гвоздиком – веревка
ночами говорит.

Утешны эти речи...
Да времечко – плясать!
Любила эти плечи
ночами целовать.

3

Но промерзлые уста
зеркальце туманят.

¹⁴ Без любви, холодное сердце (нем.).

Знать, последняя верста
скажет – не обманет:

кто был волен,
кто был смел –
молодые оба! –
кто в разлуку улетел,
кто в любовь до гроба!

1975

В апреле, над Днепром

А Выдубецкий белый монастырь –
что мазанка... Селянское барокко
вздымает главы тесные высоко –
туда, где ангел, темную псалтырь
перебелив кириллицей заветной,
как пух, парит...

А кто бы думать мог? –
ходил в лаптях, в какой-то свитке бедной,
с улыбкою младенчески-приветной
он вдруг постиг, что Слово – это Бог...

Как лес, шумит сухой чертополох,
и в нем плитой означен неприметной
Ушинский – старый русский педагог.

Кресты разбиты, выщерблены «яти»,
скрипит песок у литер в желобках.
В граните каменеет настоятель,
под скифским камнем мается монах –
Яновский-Гоголь был ему приятель,
который на Московии зачах...

По водостоку ржавому в овраг
спешит ручей, кружа сырые щепки,
зато у брандмайора в головах –
античный шлем малороссийской лепки
да вороха промасленных бумаг
и хрусткие обугленные ветки,
понеже все, что не огонь, то – прах.

Но вот над чьей-то юною судьбой
склонилась неутешная вдовица
иль Глория – как встрепанная птица
с ногой бурсацкой, пыльной и босой.
Что гирькой, сдобрен бронзовой слезой
амурчик над купцом первогильдейским,

зарезанным не умыслом злодейским –
цыганкиной беспутною красой...
Над морем взбаламученно-житейским
висит предвечный, сладостный покой.

Но занимается весенний зной.
Дубовых листьев прошлогодний шелест:
шафраном пахнет вспученная прель.
Профундо-басом запекает шмель.
И рыба в старице идет на нерест.
Волну стегает вербами апрель.

1987

В долготе дней

Памяти Д. Н.

1

Уже из головы твоей
пророс седой лопух.
И все прозрачней и светлей,
прохладнее твой дух.

И все спокойнее глядишь
на прежнюю меня.
В такую даль, в такую тишь
не донесу огня.

В такую вешнюю страну –
все вишенье в цвету, –
хотя б и голову пригну,
не пустят на версту!

Хотя б надела расписной
любимый твой наряд.
Хотя прикинусь молодой, –
«Нет входа», – говорят!

Хотя в лукошко положу
барвинка синеву.
Хотя и лягу на межу
да в градинах траву.

А видно, что еще жива
и замыслов полна
и что хвораю-то едва
и даром что одна.

И так усмешливо мой дуб
кудрями шелестит,
корой порушенною груб,
а желудем блестит!

И так пылает на плече
мой золотой загар,
что льются клятвы при свече
и рвутся семь гитар.

И только в памяти твоей
я, может, умерла...
Они насущней и верней,
посмертные дела!

2

...Но вот из школы потекла
тропинкой детвора –
и я безмолвна и мала,
как завтра, как вчера.

И я сжимаю твой букварь,
отеческая речь.
В такую сушь, в такую гарь
легко ль его сберечь?

В такую долгую страду,
в такой далекий путь
иду, иду себе, иду –
и некуда свернуть!

Ни даже на горячий холм,
под дремлющий лопух.
Ни в этот рай, ни в этот челн,
ни чтоб земля – как пух.

Ни чтоб вконец уже устать,
ни чтоб передохнуть.
И шлет сырая эта падь
простудный ветер в грудь.

То бродит новая весна
у горького двора...

Бывало, – слишком уж юна,
а глядь, – уже стара!

Бывало, только и пою,
как щелкнет из ветвей
по душу робкую мою
слетевший соловей.

Бывало, только и живу –
до встречи, до зари...
А вот копнят уже траву
в тумане косари.

А вот уже перемогла
осенний перевоз.
Дождит. Полуночная мгла
полна, как вечность, слез.

И я не думаю уже,
он внемлет или нет,
кто был мне братом по душе
или бобыль-сосед.

А что и есть в моей груди,
так эта долгота
неугасимого пути,
разуная верста!..

1981

* * *

Соловей, соловей, соловей
вновь рифмуется с блеском ветвей.
Юной ночи босая прохлада
холодит, молодит, как вино,
и едва распахну я окно –
белокурая ветка из сада!

И покуда из дальней избы
с аистиним жильем у трубы
запоздалый дымок разовьется,
все, что хочешь, проси у судьбы –
в час, когда зацветают дубы,
в час, когда соловей задохнется!

1971

Возвращение на север

Забуду веселое чудо
и маков седых огоньки.
Покажешь на горло: простуда, –
но эти припомнишь стихи.

Там серые стены увиты
кровавым цветком молодым,
и, Богом давно позабыты,
мы словно навеки зарыты
под камнем по имени: Крым.

Наверно, кувшины разбиты
с водой и вином золотым,
но розы, как души, раскрыты,
разлуки, раздоры, обиды –
как мы одиноко летим!

Но те киммерийские плиты,
оливы, и лавры, и мирты,
и древнее море Тавриды
ужели признаешь своим?

Давно ли, давно ли, давно ли
пылали, к чертям, корабли
и в душевной пучине тонули,
чужой не пригубив земли;
камзолы да икры на вате:
орлы – только кур насмешить! –
гадали не надвое – на три,
а впрочем, любить – так служить! –
и самый счастливый из братьев,
как римлянин, плыл – Клеопатре¹⁵
пространство к ногам положить...

¹⁵ Клеопатрой севера льстецы называли Екатерину II.

Татары, татары, татары...
Как эти мониста бренчат!
Кизиловых склонов пожары,
в подпорках – кривой виноград.
А впрочем, недаром, недаром
звончее и жарче стократ
российско-азийские чары
гремят:

водомёт, водопад!

И это извечное право,
как камень, ношу я в крови:
в моем самовластье – держава,
твоей неподсудна любви!

И, плача иль тайно ликуя,
вольна я тот рай уступить
навечно – шутя иль тоскуя,
и хоть бы не в силах забыть
и скалы с лиловым изломом,
и сад, где кишат соловьи, –
седым, молодым, незнакомым,
корыстью иль гневом влекомым,
не знающим лучшей любви.

1973

Присказка

Не пей – души не загуби! –
чертополошью славу.
Владей, но только не люби
ни жемчуг, ни оправу.

Склонись над бабкиным шитьем
волосьяной сорочки,
но только сердца колотьем
прошей двойные строчки.

Стежок, стежок, опять стежок
да тусклый взгляд в оконце, –
снежком присыпанный стожок,
калиновое солнце

спали в остынувшей печи,
швырни кота на печку,
отдай коня, но умолчи
про упряжь и уздечку.

А отчей речи пирожок
румянится на донце,
его ни плеть, ни батожок,
ни алые червонцы

не сломят в лавке золотой,
не припасут к обеду...
А с тем, кто на ухо тугой,
не заводи беседу!

1975

Ответ критику

У поэта нет «своих» – ничей он.
Вышнему послушен он суду.
Вымершее племя книгочеев –
он и то обходит за версту.

Он бежит в языческие рощи.
Как зерно, воспитывает стих.
Он добрей, таинственней и проще
всех родных, суровей – всех чужих.

27 сентября 1997

● * * *

Но ты, кого я вовсе без любви
в свой дом заклятый к ночи заманила, –
я там лила не слезы, но чернила, –
и леденели рученьки твои,
когда морская наikipала пена,
и сад белел, и горестно, до пенья,
постанывали глухо соловьи...

Простил ли? Чернобыльская земля...
Черемуха... Сирень... Летучим пухом
опутан лягушонок. Тополя
гремят навзрыд. Но несказанным слухом

я слышу: мне – дорога далека,
кукушечья, певичья, – это вдовье
сухое счастье ведаю пока,
а коль заплачу: лыко – да строка!..
Простил ли тяжесть моего цветка
в твоём, уже кровавом, изголовье?

1972

* * *

Ветер в дикие степи уносит
наших песен сухое руно, –
там никто не припомнит, не спросит,
что в седины его вплетено:

я ль была до последнего часа
неотвязной разлукой твоей,
ты ль за мной, волоокою, мчался,
загоняя чужих лошадей?

Я ль роняла жемчужное слово,
в пропыленные трубы трубя, –
тянет гарью, вскипает полова,
как забуду – как вспомню тебя...

1975

Лесной пожар

I. В ЧАЙНОЙ (МАЙ, 1972)

Еще круглы у Тулы самовары.
Испарина. Недужная роса.
И от укропа ломаются базары.
В коня ли корм?... Запавшие глаза.
И хруст, и рокот... Это – не гитары.
Я чутко различаю голоса:
уже гудят подспудные пожары
торффов...
Огня и дыма полоса.

II. ДРЕВЛЯНСКИЙ ЛЕС

Язык деревьев – музыка.
Недаром
они годны для ветра
и для скрипки.
И вы мне подарили по ошибке
дубовый стол с разводами чернил.
Сажусь к нему,
а мысли чудны, зыбки:
то леший стонет,
то совиных крыл
пуховый взмах,
а то сырой, осенний
листок залетный чиркнул по виску,
а то волна светающих сиреней
смывает прочь
щербатую доску...
То желудь прокатился,
то воронье
перо кольнуло, с матицы упав,
но все-то ропот,
шорох посторонний,
то скрип, то хруст,

то вздох сушеных трав...
Вот в дымоходе
веточкой скребется
кот-трубочист,
вот храбрым коготком –
проныра-мышь:
над львиной ножкой бьется,
разит ее иголкою-зубком, –
но не сидится, право же, неймется
за вспученным, бушующим стволом...

И тянет вспять,
в дубравы Приднепровья,
где и поныне властвует Перун.
Чуть поведет
своей крутою бровью –
и грянут гусли
в сорок тысяч струн.
Чуть шелохнет
своей могучей дланью –
и всплачут кобзы;
пой иль голоси,
но, видно, так уж выпало заране:
бог музыки
есть Бог всея Руси!

Бог лиственный,
бог травный,
бог дубравный,
ракитовый и хвойный –
бог древес...
И человек ли –
слепок богоравный,
иль этот,
что горит сегодня,
лес?..

III ГАРЬ

Ушли колдуньи из полесских гнезд.
Зеленовласый выводок русалок
сгорел в костре, и где-то между звезд
плывет дымок – белесый полушалок...

Над этой гарью некому взлетать,
следок печатать на тропинке мгlistой,
и не о чем до света напевать
над колыбелью... Розово-душистый

взметнется после, может быть, кипрей
в два человеческих непомерных роста...
И всадник прочь торопится скорей,
как будто ночью едет вдоль погоста.

1972, 1987

* * *

Июньский день в глуши тенист и звонок,
не спят ни днем, ни ночью соловьи.
А на тропе топорщится совенок,
вздывает крылья знойные свои.

Он мал, он слеп, из вешней колыбели
упал, мотает круглой головой.
Две бабочки цветные пролетели
над горемычной птицей меховой.

Три муравья прошли своей дорожкой,
высокий стриж на небе прозвенел.
Змеится цвет мышинного горошка;
как птичник, желт разлтый чистотел.

Взлети, трава, взлтай, ночная птица!
Горячий день растает в синеве.
И мне пора на время прилепиться
к бесшумным крыльям – к медленной сове.

И вместе с нею покружить над лесом,
держась поближе к дому и реке.
Вот домовой – чуть гроыхнул железом
и прикорнул в пыли на чердаке.

Вот слышу я: черемуховый ветер,
кренясь на север, валится в овраг.
Вот месяц в небесах раскинул сети:
свети над миром, золотой рыбак!

Дрожите, души бархатных полевков!
Крепчайте, крылья хищного птенца!
В луче луны дымится подмалевок
совиной ночи, лип Яропольца,

могучих крон, клубящихся во мраке,
светающей росистой тишины...

Да только можно ль передать бумаге,
как эти ночи музыкой полны,

и все затишье – только смена звука,
а тьма – лишь веер трепетных теней,
когда на небе два лучистых круга,
забывчивые, бродят средь ветвей...

1981

* * *

Томлюсь ли в зимней пустоте,
брожу ль по клеверному раю,
сужу-ряжу о правоте –
и ничего не понимаю!

Всего-то бы сказать: гляди,
как счастлива!.. Прикосновение
пера к руке... А из груди –
что стон, то снова восхваленье:

овальной, лапчатой травы,
тебя, приморского простора
и даже сумрачной молвы,
не различающей любви,
забвенья, славы и позора...

1977

Штрихи

1. ЗАБЫТЬЕ

Тяжка последняя кровать!
Где я? В силках? в капкане? в клетке?
И нету голоса – кричать,
и страшно мне тебя узнать
в том вороне на ветке...

2. РАССВЕТ

Очнусь. Опомнюсь. Было. Миновало...
Лежит себе, сметенное, во рву.
И – коль всерьез, на совесть, наяву –
меня еще на свете не бывало:
еще столетье, может, проживу!

3. В ГОРАХ

И снова – ярко-траурные маки
на той, уже бесплодной, высоте...
А мне казалось: это только знаки,
что вырождение – вровень красоте.

4. ЕДИНСТВО

Я никогда не различала,
где – звон цепей, где – стук сердец,
где – стон любви, где – вопль металла,
где начинается начало
и где кончается конец.

5. РАБОТА

Я – в пехоте, в пехоте, в пехоте:
не в грязи – так в несмытой крови,
в новгородском промозглом болоте,

в той штрафной да бесчувственной роте,
что у смерти – на черной работе,
что для смерти – на черные дни!

6. МОРЕ

И вот уже ни друга, ни врага...
И вот венец моей седой науки:
что моря нет, а есть лишь берега –
два равноправных берега разлуки.

7. ВЕЧЕР

В теплых травах, в глубокой долине
светляки зажигают огни.
Не скажи, что легка на помине;
не скажу: напоследок взгляни...
Не тебе завещаются ныне
светлой памяти черные дни.

8. БОЛЕЗНЬ

Царапинка, песчинка, чепуха!
И я жива, и музыка разлита...
А все мне снится: пенье петуха,
да тьма, да звон козлиного копыта.

9. СЛОВО

Не тревожься... Тебя ли винить?
Тут не кровь, не беда, не обида.
Только словом посмею убить,
только словом могу быть убита.

10. ПРОЩАНИЕ

А там – морская, пенистая даль
и осыпи совсем не нужных сосен.

Стучит песчаный, пористый миндаль.
Я не услышу. Это позже: осень.

11. ПЕЙЗАЖ

Брожу средь нищенских раки.
А – то ли было, то ли снится –
лимонногрудая синица
сквозь виноградники летит...

12. МЕТАФОРА

Все зеркала... Забавы!.. Темный стих...
Брусничный лист. Молочные чернила.
Я б из могилы подняла живых!
Я б мертвых за оградой схоронила!

1973, 1975

* * *

Сергею Козлову

Иван-царевич так живет:
лозу плетет, конюшни чистит,
лучину жжет, поклоны бьет,
ни букв не ведает, ни чисел.

Иван-царевич, беден ты,
да говорят, что ум короток.
Морозной, колкой чистоты
Не кована тебе корона.

Ты из ивашек, из емель,
такое даже не приснится –
сказать за тысячу земель,
домой с Жар-птицей воротиться.

А птица – с ветви на сучок,
рукой подать – такая малость...
Иван-царевич, дурачок,
всё дурачками начиналось.

1962

ВЫХОД К МОРЮ

Начинается эта страница
оттого, что вовек не со мной
крымских роз по стене вереница,
сине море под крымской горой,
что белеет в подлеске кислица
бело-ландышевой головой;

и певец желторотой раките
что-то звонкое в душу кричит:
что, мол, вешнее солнце – в зените,
что лужок так медово горчит,
что протянуты струнные нити,
по которым пчела прожужжит.

По которым и я наудачу
прокрадусь белокурой весной,
воспаленную голову спрячу
в огороде за ближней горой,

в молодом синеватом укропе,
в мотыльково-капустной пурге –
в сердце родины, в светлой Европе,
в золотой от купальниц реке!

И за мной припускаются маки
с козьих склонов, с кизиловых троп.
По дороге из греков в варяги
обнимает их майский озноб.

По дороге, где волок на Ламе,
где тверские богатые льны
переливными дрогнут шелками –
зелены, точно очи весны...

И колышется тайное пенье,
мерной речи задушенный строй.

Это там – где лопух и сирени,
это здесь – под еловой трухой...

И вплетаются темные розы
и шиповники в тонкий платок...
Ничего-то не вижу сквозь слезы:
как отселе мой путь одинок.

Как отселе распахнуты дали
ненаглядной моей стороны,
про которую деда певали,
бабки видели вещие сны,

будто нету просторней и краше,
чем на Север, под парусом, путь,
подымаются волны, как чаши,
бьются чайки в балтийскую грудь;

и когда от московских окраин
электричка бежит по лесам,
ладим лодку за старым сараем,
чтобы плыть по курчавым овсам,

чтоб, развесив веселые флаги,
через **во**лок да волжский ручей
плыть из ласковых греков – в варяги
всею кровью и памятью всей!

1980

Выход к морю

1

Так вот куда стремились мы от века,
так вот о чем – Ливонская война...
Не возвышает душу человека,
а разве что гнетет ее волна.

А разве возвращает восвояси –
к отчизне без окон и без дорог,
где дождь исходит в неутешном плясе,
и вот поплыл уже и сена стог.

И вот плывет по морю драный лапоть,
и вот летят грудастые суда
до устья Эльбы, до низовьев Лабы,
и пеною вскипает борозда.

И вот встает лихой ганзейский город –
прижимистый, под кирхой, городок...
А вкус воды все так же солон, горек,
а дух земли по-прежнему глубок.

Гостиный двор. В заулке – синагога.
Меняльной лавки сводчатый портал...
А бог все так же не похож на бога,
как в час, когда Творцом себя назвал.

И так блестит на солнце черепица
и благочинен уличный покой,
как будто бы младенца из корытца
здесь выплеснули с мыльной водой.

И женщин осторожная осанка,
и копытами – раскрыли чепцов...
(Ну разве так ступает россиянка,
когда заморских потчует купцов!)

И замирает будничное море
и в гавани недужное лежит,
коль трубчатая музыка в соборе,
как ветер в овраге, буйно загудит.

И во главе семейного отряда
шагает пекарь, шорник, водовоз...
Так что же сердце лапотное радо,
когда рыдает птица альбатрос?

Когда летишь – и паруса в заплатах! –
туда, где скачет душная вода,
до устья Эльбы, до низовьев Лабы
и далее – неведомо куда!..

2

Варяжское, языческое море!
Какая быль на дне погребена!
Щепоть земли с Софийского подворья,
обломки мачты – иль веретена?

Какой была упрямой эта пряха,
что две зимы сучила да пряла! –
И парусом вздымается рубаха,
июньским льном лагуна зацвела.

И мореход – холоп и смерд вчерашний –
свой путь по звучным звездам начертал.
Он на волне – как будто грач на пашне,
так важен, точно сам ее вспахал!

Так весел, словно это сине море,
а там – недолго! – море-океан –
не тягость, не чужбина и не горе,
а штормовая вотчина славян!

Как будто бы, повит морскою славой,
качаясь в ледовитой глубине,

он родину зовет уже державой –
при парусах, при верфях, при зерне;

при городах и златоверхих храмах,
промоинах озерного челна,
степных криницах, приворотных травах, –
и жаворонком слышится волна...

1980

Холодная весна

Но это море только белизной
меня прельстило... В это время года
бескрайняя пустыня небосвода
не привлечет опасливой души
на нищий берег...

Я нашла здесь волю,
и долгое молчанье, и пучок
лучей, и белоснежный подоконник.
(Но так бывало в ясную погоду.)
И эту кромку... Отверделый снег
сверкал, как в детстве – сахар, и волна
его лизала робко, потихоньку,
отшатываясь, крадучись, хитря.

Я узнавала этот голый берег...
На низких дюнах, меж сухих стволов
летели белки. Желтая синица
присвистывала. Гроздья воробьев
слетались в одичалый палисадник
и на кусте столетнего жасмина,
нахохливаясь, прогибая ветки,
покачивались, будто бы цветы.

Туманные латышские коты
моих речей почти не понимали.
Пушась своими царскими хвостами,
спешили прочь, – но можно ли винить:
у них в глазах всегда стояла греза.
Я привыкала к очертаньям сосен –
корявых, с мелкой хвоей набекрень.
И временами жиденский пейзаж,
с изломанным, томительным пареньем
взметенной кроны – мука простоты!

усилье смертное! божественная скудость! –
горчил японской тушью. В небесах
текли тогда лазурные знамена.

Прозрачный отблеск утреннего моря
был сизо-голубиным... Красных верб
кошачий, заячий, жемчужный мех
уже весну насказывал природе.

Но море, море – в белых хлопьях чаек –
едва звучало... Только по ночам
сквозь темный рокот напряженной хвои
взывал ко мне его огромный голос –
и мне тогда казалось: все железо,
все продырявленные кровли мира,
затерянного в этом влажном мраке,
здесь громыхают – под моим окном.

И я подолгу вглядывалась в море.
И выплывал навстречу Гетеборг,
туманы, скалы, льдистые фиорды,
пожухлый вереск – Северной Европы
рассветное седое молоко...

Туда! Туда... В медлительные страны,
где острым солнцем плещется форель,
где век еще нисколько не в разгаре,
где лейтенант безумный околдован
девчонкой долговязою – Эдвардой,
чье имя, как эпическая песня,
звенит, как дивной страсти тетива.
Но ты, любимый?..

«Светлая земля
твои шаги навеки сохранила...»
Так я во тьме когда-то говорила.
Так повторяю. Теперь не плачу я.

Туда! туда!

Путивльская стена
и так влажна! И разве что добавлю
к ее песку?..

Измученные камни
молчат. А белокурое пространство
бьет в бубны, раздувает паруса...
Туда! туда!.. Но мне опять желанней
остаться здесь – умершей, позабытой,
чем там – беспечной, гордой, молодой.

Моя любовь не стала бы напрасней,
моя печаль не стала б молчаливей,
когда б земля осталась за холмом.

Мне предстоит еще седая старость
и труд веселый, одинокий, страшный, –
я не желала бы от этой чаши
уйти, хотя б и в трещинах она.
И то движенье сумрачное вспять –
за днем грядущим, сном позавчерашним,
и тот вокзал, где мартовская слякоть,
и где цыганка в белых башмаках,
с монистами и опустелой грудью,
где криком воет музыка слепая,
а зеркальце оклеено бумагой, –
мне предстоит...

Но лучше промолчать.

1973

* * *

В этом мире, расчерченном начерно
на разлуку, на смерть, на любовь,
разве я — для тебя предназначена?
разве сам ты — к бессмертью готов?

Разве это зеленое зарево
поседевшей от соли волны —
слаще дымного, раннего, карего
подмосковного чуда весны,

черноземных проталин в орешнике,
лучезарного взмаха раки
и певца, что, минуя скворешники,
над обугленным лесом летит?..

1975

* * *

...И я не стала ни сестрой,
лицом похожею на брата,
ни той покорною женой,
что перед Богом виновата,

и ни возлюбленной — меня
лишь одиночеством дарили:
бежали, словно от огня,
и, охладев, боготворили.

1978

* * *

Безмерные права
у медленной разлуки.
Зашьешь мои слова
в шелка речной излуки.
Откину волоса
со лба немолодого,
чтоб видели глаза,
когда приснишься снова:

как некогда – живым,
как исстари – беспечным,
под сводом голубым,
в пространстве бесконечном...

1977

Забывтый поэт

Я склоняюсь уже не спеша
над твоим молчаливым уроком.
Где паришь, золотая душа?
Что ты делаешь в небе глубоком?

Так ли славно оттуда глядеть,
отыскав уголок поукромней,
как рябины червонная медь
заалела над отчею кровлей?

Так ли горько следить, как иду
по ледку – по расколотым стеклам
к твоему ломотному пруду,
что листом покрывается блеклым?

К той березе – крутые рога
перепутались с лапами ели...
Так ли горько видать, что луга
обезлюдели да пожелтели?

Так ли странно слышать, как прошла
под гармонь деревенская свадьба?
А когда-то и церковь была,
и на льне богатела усадьба.

Из которой под вздохи старух –
вдовых теток и матери – мчался
в Дерпт, Париж, громовой Петербург...
С сельской музой затем повенчался.

То ли ключница, то ли жена,
говорят, на гроши схоронила.
Недостало ни леса, ни льна
на нещадные эти чернила...

Так ли скучно смотреть, как молчу
над твоей немудреной строкою:

может, просто на память учу,
может, высью дышу голубою.

Может, думаю: зряшнее нет,
чем твердить, что поэт – врачеватель,
а тем паче – что умер поэт,
если жив одиночка-читатель.

1980

* * *

...Но это старость – морщит жаркий лоб,
но это юность – остро плечи горбит.
Иссякнет речь и пробежит озноб,
когда душа бывалое припомнит:

она ль могла так истово рыдать
и так несыто звать к себе в подмогу
российских слов сырую благодать
и на Орел апрельскую дорогу?

Она ль могла так радостно лететь,
на отчий дол в тоске не оглянуться, –
она ль могла в глаза твои глядеть,
твоей руки, постылая, коснуться?..

1976

Видно, загодя – дело не чисто...
Видно, вправду – раба не чиста...
Разве я не бывала речиста?
Разве я не бывала проста?

Отчего ж ядовитая мята
возле милого дома растет?
Отчего ж на меня, а не брата
этот рекрутский жребий падет?

Отчего ж отлучат от любви,
скажут: порохом пахнет земля...
Кто синицу в бурьяне изловит,
кто засмотрится на журавля...

Ничего не пойму в этом мире,
никого – в этом отчем дому!
Ну, а ты: чтоб на этой вот... лире...
я брэнчала!... Про что? И – кому?..

Что скажу? Без меня – разрыдаться
научились на светлой земле.
Без меня – повели разлучаться
тех двоих, что белеют во мгле.

Без меня пропылили солдаты,
чтобы сгинуть на старой войне.
Без меня – календарные даты
пришивают к лазурной стене.

Без меня – эта синяя вечность,
озаряя ничтожный предмет,
катит в горло такую безбрежность,
что – ни звук, и ни мрак, и ни свет!..

1975

Воспоминание о Яропольце

*Памяти
кремлевских курсантов
1941 года*

Какая даль обнажена!
И голос моря бьет мне в грудь,
и не умела б я вздохнуть,
когда б настала тишина.

И не умела б рассказать,
как сердцу весело летать,
на ледоходной льдинке плыть,
голодной чайкою кружить.

Как странно мне, что далека
страна, где желтые луга
сырой отавой шелестят
и входят козы в голый сад.

А заяц яблоню в саду
да иву – косы-то в пруду –
уже как липку ободрал;
скользнула мышь на сеновал.

А церковь сыплет серый мел.
Устав от битв, уйдя от дел,
седой фельдмаршал Чернышев
здесь погребение нашел.

Он был богатый господин,
при Лисавет он брал Берлин
и разбивал версальский сад
в земле, которой черт не брат.

А внучка – бог ее прости –
телят гонять? гусей пасти?
в Сибирь надумала пойти...

Острог читинский на пути.

Богоотступнику жена,
она белее полотна,
Александрина! – имена
какие плыли по снегам
да по тюремным по замкàм!¹⁶

Она чахоткой сожжена...

А вот и ты, а вот и я –
все та же дружная семья.
Кричали в детстве: «Наш – Берлин!»
И вот дожили до седин.

И всё запомнили как раз:
совиный крик, вороний глаз,
и в этом выжженном саду,
и в этом тинистом пруду

любая капелька – моя,
любая веточка былля,
и этот лес, и этот мост,
и этот брошенный погост,
где прошлогодней бузины
сухие кисточки – красны
и так в земле лежит народ,
что, что ни косточка, – поет!

Ледок туманится. Репей
один в дозоре средь полей.
Из-под стального шишака,
из-под насупленных бровей
он в даль глядит – издалека,
как старший из богатырей.

¹⁶ А. Г. Муравьева, жена декабриста, урожденная Чернышева.

И так рука его крепка,
как будто латника рука.

А над кусточками жнивья
пылает эхо соловья,
который жил, который пел,
когда и я, уйдя от дел,
легла у старого плетня,
где дремлет сельская родня,

где спит берлинский генерал,
а землю вешнюю вскопал
волоколамский бородач,
неспешный, как при севе грач.

Где спит задумчивый курсант
в аллее, уводящей в сад.

Он защищал старинный дом,
который высился кремлем,
венчая век, венчая пядь,
какую – можно ли отдать?!

И это не был зряшный риск –
торчит из гипса обелиск;
и кто-то молча зарыдал,
как будто сам с ним рядом пал...

Я ничего не говорю,
я только медленно смотрю,
и мне ль заплакать? – я мала
для полноты добра и зла.

Нора барсучья – или чья?
Ступаю руслицем ручья...
Да где же эти волока́?
Гремит прибой, катит река,
и входят в Ламу корабли
ганзейской прибыльной земли.

А встречный флот по гребню вод
от Черноморья восстает...

А на шоссе – зерновоз
пылит – и кашляю до слез,
и, сиволап и низкоросл,
читает пахарь книгу звезд.
Уже невидимый почти,
один – вселенной посреди,
за ним – озимые поля,
за ним – обширная земля,
за ним – Москва, за ним – Берлин,
а он – один, один, один.
И я смотрю ему вослед
из темноты грядущих лет.
И я восстану, может быть,
чтоб дальше цвести, чтоб дальше плыть,
уже седая, как волна,
глубокой вечностью полна;
какая дружная весна!
и прежний голос бьет мне в грудь, –
ведь не умела б я уснуть,
когда б настала тишина!

1981

* * *

Сколько мглы!.. Хрипота в голосах...
Ни луча в этом небе землистом.
Лишь в низине, в капустных лесах,
одинок, как во поле чистом,
машет бабочка белым батистом,
через миг истлевая впотьмах...

1974

М. Ногтевой

Ранние приходы темноты,
в трещинах облезлый подоконник,
а за домом – стылые пруды,
а за ставней – глиняный шиповник.

Так его кувшинчики висят –
влажная глазурь на терракоте, –
словно, изумленные, косят
в душу, наклоненную к работе.

Письма ли скупые напишу,
рифмы ль забренчат – забавы ради,
надо привыкать карандашу
к этой одиночества отраде.

Надо привыкать моим глазам
к узкому полуночному блеску –
луч уже скользит по небесам,
если приподнимешь занавеску.

Всходит быстротечная звезда.
Время плакать сухогорлым совам.
Здравствуй, мимолетного труда
знойная, сухая подоснова!

Здравствуйте, румяные слова,
вестники молчанья наливного!
Так ли я – бестрепетно – мертва?
Так ли к этой гибели готова?

Так ли, примиренная, взойду
зернышком?... и в крымскую черешню
косточкою белою вращу? –
так ли – в приснопамятном году –
яростная, хищная, воскресну?

Так ли мне стоять перед тобой –
славою, попыткою укора?..
Так ли просверкаю под луной
влажным терракотом у забора?..

1976

Чужбина. Море. Снеговая воля.
И по ночам потрескивают льды.
А я смотрю: как будто берег поля,
где белые запенились цветы...

И снятся белокрылые ромашки
и диких пчел густой недвижный гуд...
А если звон – скользит ручей в овражке,
и душные бузинники цветут.

И на земле подгнившую корзину
найдешь, уже прошитую травой.
Какая сырость обнимает спину,
над головой – какой горячий зной!

Какое медоносное терпенье
у бурой пчелки: взмоет в синеву,
чтоб, миновав господские сирени,
нырять в сурепку – сорную траву!

Чтоб научить меня – горячим глазом
следить, как вспыхнет золотистый рой
и, легкой тучкой затемнев над вязом,
летит заране **за** реку домой...

А ласточки над низеньким карнизом
дощатой почты – жалобно свистят,
пока на небе – сомкнутом и сизом –
цепами или ведрами гремят;

пока идут поспешно за водою
по тропке, по муравке меховой –
за ломотной, глубинной, ножевою
колодезною сытною водою;

пока мятежно возглашает стадо,
дневною мглой накрытое в лугу,
и пробегает по листьям прохлады,

и машет куст, взлетая на бегу;
пока с веревок впопыхах срывают
свистящее суровое белье,
и кличут в дом, и имя называют,
зарытое в бузиннике – мое...

198

* * *

Опостылел и город, и дом,
опостытели мысли и слезы,
и совсем не нужны за окном
эти круглые красные розы.
Этой сини морская кайма,
эти камни, облитые солью.
Это я разлучила сама
душу с телом, а сердце – с любовью.

Это я научила глаза
так смотреть, словно вовсе незрячи,
так скользить – по беде, по удаче,
что взлетает в мои небеса;

так, прищурясь, нацелиться в даль,
словно там просверкает во мраке
о тебе – золотая скрижаль,
обо мне – горстка пыльной бумаги...

1976

Уже следов любовного недуга
ты на моем лице не различишь.
Высоким смехом отвечает вьюга.
Церковкой звякнет городская тишь.

И, пойманная кем-нибудь на слове,
я эту речь в испуге не прерву.
Я проживу в Можайске или Пскове,
я в Новгороде молча проживу.

Я заведу зеленый огородец,
я маков цвет на грядках разведу.
И буду думать: вот скрипит колодец,
вот плещет гусь на солнечном пруду.

Пускай моей подругой будет ива,
пускай дрожит сердечком бересклет.
Я не знавала жизни сиротливой:
таким был людным этот белый свет!

Таким был добрым хоть бы первый встречный,
такой угрюмой я сама была,
что и теперь в лугу моем заречном,
пожалуй, не отмоюсь добела.

Но если скажут: мне всего милее
древесный шелест – не людская молвь,
набухшие от сырости аллеи –
не равенство, не братство, не любовь,

а это золотое дребезжанье –
нестройный плеск, набат, морозный гуд,
когда встают с погоста прихожане,
когда на лед Чудской они идут;

когда такая тишина витает,
такая птица горькая кружит,

как будто дух неслышно воспаряет,
а тело – где-то мертвое лежит, –

я так скажу: для этих расстояний
на сорок бед – единственный ответ:
страдание не зовет себя страданием,
разлука знает, что разлуки нет.

Девчонка помнит: наряжат вдовую,
мальчонка чует, что – геройски пасть...
Что жизни им отмерено с лихвою
в тот час, когда она оборвалась.

Я так скажу – что этот мир древесный
напрасно ты желаешь разделить
на то, что – песнь, и то, что было песней,
на речь – и то, как надо говорить.

На клейкий лист – и жухлую бумагу,
на смех и плач, на слово и число.
Сотру со щек непрошеную влагу.
Смотри – ее к оврагу отнесло...

И если на краю воды и суши
стою одна, – то разве знаешь ты:
всю ночь с листвы глядят людские души,
хлебнувшие безлюдной высоты.

Они глядят с волненьем и тоскою,
как зреет мак, как тихий город спит...
И разве что с отшельницей глухою
весь небосвод, засыпанный землею, –
со мною неурочно говорит.

1980

* * *

Сколько лет, сколько зим протекло...
Как тюрьма, укатала свобода!
Молодое воронье крыло
разрослось в ширину небосвода.

Всё мне снится: твоя голова
голубой сединою чернеет...
Я, наверно, подавно мертва –
лишь рубец на щеке розовеет.

Я подслушала: там, впереди,
за горою, – такая разлука,
при которой – ни слова, ни звука,
ни любви, ни проклятья в груди...

1974

Латвийский берег

Сергею Козлову

... Там возводили крепость из песка,
текучего, налитанного влагой.
В нагроможденье островерхих башен
такая вольность и такой полет!
Пронзают шпили огненное небо,
которое пониже опустилось
затем, чтоб город устремился ввысь.
Какой большой, какой богатый город!
Пруды, собор, дозорные площадки...
Но вместо хриплогорлых петухов
иль прапорцов из певчего железа –
мохнатой чайки белое перо...

Вставало солнце. Расстилалось море –
сиреневого, розового цвета,
как будто в нем всю ночь мочили вереск.
И я все это видела во сне
тому назад лет двадцать, но сегодня
вдруг повторился этот дальний сон.
И я опять в стране, залитой солнцем,
и море плещет в каждое окошко,
а на окошках – душистые цветы.
И жители знакомы мне: сапожник
сто лет тачает бархатный сапог,
и стражник спит в обнимку с алебардой,
а мельник мелет круглое зерно.
Летает пух петуший, и гуляют
украшенные бантами коты
у ног хозяев, заливаясь песней.
— Бездельники! – кричу я. – Чародеи!..
Но мой приятель, Луис Стивенсон,
мне машет шляпой, и спешит по трапу,
и ломано по-русски говорит...
Но погоди – ведь тут, пожалуй, праздник:

увиты прясла тоненькой гвоздикой,
всклоченной козлиной бородежкой, —
ну, и цветок! — белесый, никакой,
неотличим от северного неба,
от ветерка песчаного над дюной —
но пряною негоцией Востока
исподтишка задумчиво пропах...
А у ворот — ползучие гирлянды
морской капусты... Чтó там? Нежность? Свадьба?
Турнир? Победа? Дружество с врагом?
Сейчас ударят в золотые бубны,
полюются флейты, засияет скрипка,
и девушки счастливые распустят
русалочки льняные волосы...

Ах, эта шхуна, — ржавая калоша,
кишащая серебряной салакой,
а к днищу прикипели жемчуга...
Который год, уткнувшись носом в берег,
жуёт песок скрипучий!.. Нам бы плыть
куда-нибудь подале, наугад,
в скалистый город, в сумрачное детство,
где тянет гарью, где в седой крапиве
рубиновое стеклышко горит,
где стайки молчаливых воробьев
золой взлетают от босого шага...
Там слов совсем не слышно — только запах
имеет детство; только серый камень
на родине покинутой лежит.

И я опять бездумно вспоминаю
невнятную дремоту, берега
чужого моря, путаную сказку...
Еще со мной нисколько не случилось
печали!.. Торжествует на песке
дух готики и детская ладошка.

1972

Песенка

Всё мне чудится: встретимся, вспыхнет
этот город весенним огнем,
то, что болью мы звали, утихнет,
мы иначе ее назовем.

Мы иначе... Я буду богатой:
ну, не чудо ль? – отведаешь ты
этой бархатной, холодноватой
изумрудно-зеленой воды!

Только что ж эта ржавая влага
мне клокочет? Ищи, мол, свищи...
Но и то: у большого оврага
черно-буро седеют хвощи.

Но и то: в осветленном заречьи
так заметен уже листопад.
Как легко! Ты обнял мои плечи, –
оглянулась: то птицы летят.

Как светло! Прохутились заборы –
и вольней: только неба кайма...
И деревьев пугливые взоры.
Да вот эта... С котомкой... Зима!

1972

* * *

Холода!.. На дощатом пороге
намерзает предутренний лед.
Что там брезжит на юго-востоке?
Что там запад косматый несет?

Всё короче, всё редкостней звуки.
Всё молчу – точно горло щадя...
Лишь орлиные очи разлуки
за широкой завесой дождя.

Лишь размокшие перья вороны
на тропинке аллеи глухой...
Но деревьев безмерные кроны,
запрокинувшись над головой,
издают не предсмертные стоны –
ропот жизни, еще не живой...

1974

Единство

*Земгалия, ты – божий каравай...
Озера нынче уж летать не могут...
Визма Белшевиц*

Да будет кругл земгальский каравай,
белы – под солнцем Вйдземе¹⁷ – березы!
Мне, россиянке, дорог этот край;
беру себе его сухие слезы.

Беру себе отравленных озер,
летавших в небе, гаснущие взоры;
и хутора безлюдного укор,
и опустелые барсучьи норы.

И траурную, тощую сосну
над беспощадной юрмальской порубкой,
где гиацинт напутствовал весну,
клубясь душистой белорунной шубкой.

И вздох ковровых, облысевших мхов,
и розги, что раскладывает вереск,
и гнев твоих языческих богов,
проклявших этот выскобленный берег.

И обелисков погребальный строй –
твой можжевельник: словно над могилой,
он замер, этот хмурый часовой
в глухом плаще из хвои темнокрылой.

¹⁷ Вйдземе – центральная часть Латвии.

Беру себе истаявший янтарь
от ног моих отпрянувшего моря,
и древних балтов выцветший словарь,
пустую сеть – и ливневую хмарь
от Припяти растекшегося горя...

Беру себе знамен горячий шелк
и алые ручьи в Борисоглебе,
когда прошел, как смерч, латышский полк,
и бабий плач о мире и о хлебе.

Беру все то, что породнило нас,
жгутом скрутило – хочешь иль не хочешь:
донских нагаек Саломеин пляс
и горсть песка, где дремлет Диевкоциньш¹⁸.

Беру себе бездонную Сибирь,
где стынут в вечной мерзлоте латгальцы,
лесоповала вздыбленную ширь,
кровавую Альбёртову¹⁹ псалтырь,
сметенных гнезд латинскую цифирь –
как топором отрубленные пальцы...

И меченосцев выщербленный меч,
который горько-шепчущие дайны
одни посмели в памяти сберечь,
пустив по ветру Орденские тайны.

Беру твои разутые мечты,
твой сладкий сон, что, может, и приснился
затем, чтоб оборваться у черты
окутанного дымом Саласпилса...

¹⁸ Юлий Диевкоциньш (1879—1906) – латышский поэт, погибший при расправе с революционным движением в Латвии.

¹⁹ Епископ Альберт – глава крестоносцев-завоевателей в Ливонии, основатель Ордена меченосцев.

Беру себе обиду и вину,
свободный дар – и семь веков неволи,
сама – в ливонском тягостном плену...
И если бросишь ты меня одну, –
твое ли сердце отдохнет от боли?

1986

* * *

Это ложь, что врачуют стихи!
Я не знала горчее отравы,
чем кипящие, знойные травы,
что чадят из-под смуглой руки.

Я не знала темней забытья,
чем с тверезостью протоколиста
вспоминать, как весенние листья
шелестят на плече у тебя.

Я не знала грознее того,
что по-русски зовется: работа,
где по горло – и крови, и пота,
и хулы, и издевок без счета,
а награды – всего ничего!

* * *

Соловьиный, немислимый остров
из воды молчаливой возник:
черной липы обглоданный остов,
голь ракиты... Певучий тростник,

мысль затеплив в коленчатом горле,
трель зарыл под убогой ольхой.
Что ж вы руки слепые простерли:
ни реки, ни певца над рекой...

Лишь пастух с черноротою дудкой
прокричит меж прибрежных ветвей,
где подрагивал беличьей грудкой
и швырял жемчуга соловей!

1974

Тростник

Всё то, что прежде вызнано из книг,
стократ могло поверено быть нами:
что человек есть мыслящий тростник,
колеблемый привольными ветрами.

И вот, встречая позднюю зарю
в зеленых, звонких приозерных кущах,
качаю головой и говорю:
да, он – тростник. Но он тростник – поющий!

9 декабря 1993

В шторм

(Воспоминание о послевоенном лете)

Средь пасмурной весны – балтийский шторм,
залив дымится белогневной чашей.

А я смотрю на сизый окоем,
на чресполосицу размытых бурей пляжей.

Казалось, тут бы духом воспарить,
взлетать за этой чайкой белобрысой.

А мне бы – лишь тебя благословить,
молоковоз, грохочущий под Истрой!

А мне бы только берегом ручья,
нагнувшись, под раздетой бузиною
пройти землей, которая – ничья,
как то бывает раннею весною:

не время сеять, огород копать;
и даже грач несколько не уверен,
что вправе он за сеялкой шагать,
а мы не станем взыскивать потери...

А мне бы посмотреть на этот клин,
что столько весен золотел сурепкой,
где шмель, как бы заморский господин,
пылал соболей, бархатной расцветкой!

А мне бы глянуть, как стоит осот,
отвоевав себе седую пашню;
я говорила: пуховик трясет
засоня-баба, – осенью вчерашней...

А мне бы глянуть на приречный луг,
где лисохвост и жгучая ромашка
впивали пчелки медоносный звук,
как я, как та девчушка-замарашка,

что на вопрос: откуда ты идешь,
как продралась сквозь мачеху-крапиву? –
мне тихо шепелявила: – Не трожь...
Не гомони... – и бережно на иву

кивала – потому что грянул шелк,
и перехлест, и яростной трещотки
крещендо... И не мог зеленый шелк
укрыть того, кто прятался в середке

почти нагих, дымящихся ветвей,
почти безлюдных вспаханных просторов...
Я о тебе, солдатский соловей –
в шинельке серой, в ивняке узорном!

Я о тебе, мой самый старый друг,
наш серокрылый ангел Подмосковья.
Я пыль земли еще не смыла с рук,
ту пыль, что пахнет порохом и кровью.

Я о тебе, весенняя земля;
кормилица с уже иссохшей грудью.
О вас, волоколамские поля,
и о тебе, родимое безлюдье.

Сказать бы это слово: колосись!
Шуми лихой картофельной ботвою!
Отчизне снова выпадает жизнь
и пир с глубокой чашей круговую.

Отчизне снова выпадает смерть:
в бурьяне дремлет пусторотый Голод.
Еще он слаб, еще он милосерд,
еще он мертв, а может, просто молод.

Еще не глянул ямами очей,
еще зарытой зыбки не качает...
Но, словно пена из морских зыбей,
колотится в окно рыданье чаек.

Высоким вдовьим голосом кричат,
надрывным стоном содрогают небо,
и сосны – как железом шелестят, а
волны – полны горестного гнева.

И кажется: черемуховый прах
метет волна иль пепел пепелища.
Все море – в блеске чаячьих рубях,
как будто мина пропорола днище...

Как будто бы плывут они, плывут...
Как будто снова выпадет победа,
сурепкин мед, сухой гусиный пруд
и темный звон удушливого лета...

1982

* * *

Нет, совсем не о гибели речь!
Этот сон – к торжеству, к новоселью
да к тому, чтобы в сердце сберечь
быстротечную милую землю.

Никого не увижу от слез...
В изголовье – тлетворны и пряны –
вянут розы... Не ты ли принес?
Конским потом сверкнули каштаны.

Я люблю этот взмыленный путь
из суглинка – в отцовскую глину.
А всего тяжелее – согнуть
было эту сутулую спину.

А всего тяжелее –дохнуть
смуглой грудью... Но ты ль не утешен? –
эти комья, что бросят на грудь,
я расслышу, как грохот черешен,

как морской, накренный прибой,
как метель, ударявшую в ставни,
дробь капелей и говор скупой –
твой гортанный, заносчивый, давний...

1975

* * *

А был он хлебом мне насущным.
Как воздух был. И как вода...
Как любовался он тогда
моим лицом великодушным.

Как медленно он разжимал
свои, уже пустые, руки.
Веселым поездом разлуки
уже манил его вокзал.

Высоким голосом тоски
от моря чайки отвечали.
А я всегда была в начале
любви – печалям вопреки.

А я всегда куда-то вспять,
как провожая на перроне,
в закатном солнце, знойном звоне
плыла, чтоб молодость встречать.

Чтоб, глядя в низкое окно
в клубящемся тумане белом,
лететь душой, сжиматься телом:
ведь телу, право, все равно –

болеть ли, стариться, цвести
иль снова обмирать в объятьи.
Всё то ж на нем темнеет платье.
Всё тот же розан на груди.

1984

* * *

Подарю тебе нынче свободу
чьи-то узкие щеки хлестать.
Ворочусь к своему огороду,
стану квасом тоску запивать.

Подарю тебе светлое право
целовать этот синий роток.
Над тобою, как лучшая слава,
проплывет мой посадский платок.

Сколько роз на худом кашемире,
земляник, виноградин, гвоздик!..
Я еще не освоилась в мире,
где язык мой так волен и дик.

И, конечно же, черная ревность
водит белым, лебяжьим пером.
И, конечно же, слез моих древность
так суха – хоть руби топором.

Так легка, точно мы – на свободе,
на каком-нибудь бывшем ветру,
и плывет в золотом небосводе
горстка звезд, что умрет поутру...

1976

На старом погосте

Как хорошо, что некого терять!
Без всадников
промчались кони в мыле.
Поди, уже имен не разобрать...
А мне они – почти родными были.

1987

Весною

...так забывший меня человек
мне сказал.

Так я с ним распрощалась –
на двадцатый, на будущий век...
Впрочем, так ли уж много осталось?

Эти юные брови поднять
с удивленьем, вошедшим в привычку.
Я не стала чернила смывать,
чтоб в зеленую сесть электричку.

Чтобы ехать по этой весне,
сколько надо веселой отваги:
вот герань рассмеялась в окне,
вот деревья – спиною ко мне,
так стоят, будто свернуты флаги.

Будто все, что сверкало тогда,
позаржавело в старой укладке...
Вот река. Вот речная вода.
Вот мужчина ладонью из кадки
серебристую гниль зачерпнул.
Воспарили стрижи над погостом.
Я о чем?.. Как ножом полоснул –
этим древним с тобою несходством.

Как целуют, как любят его?!
Как, должно быть, уродливы дети...
Как, пожалуй, и нет никого
у него на целехоньком свете!

Как, быть может, терпел от людей,
как, должно быть, собой понаскучил,
как невнятной печалью своей
ясный разум напрасно измучил!..

Разве я создала этот мир,
эту жадную страсть человека,
этот парк, где эстрада и тир,
этот рай, где фонарь и аптека?!

Разве я ненавижу его?
Разве, глядя на угли заката,
не надеюсь утешить того,
перед кем – навсегда виновата?

Не надеюсь – своими избыть
чьи-то – втрое тяжеле – утраты?
Не пугаюсь – воды попросить,
не услышу из хвои и мяты:

— Будет жалостным голосом выть!
Я и сам не ушел от расплаты.
Вот росы жемчужовая нить,
чем богаты, тем, стало быть, рады!..

1975

Они даются иногда –
и вдруг, и ни за чем –
пустому сердцу – простота,
а слову – тема тем.

Всё пела мачеху-любовь,
кляла ее красу.
А нынче – медленнее кровь,
а нынче – снег в лесу.

Стонала: лучше уж конец,
чем эдак горевать.
А нынче – свадебных колец
вдове не миновать.

На ней серебряный наряд –
во всю казну твою...
«Какие плечи!» – говорят,
покуда речь таю.

«Какие очи, – говорят, –
у старой молодой!» –
пока киваю невпопад
далекой головой.

И вот на круги на своя
мне воротиться чтоб,
из петли выну соловья,
сложу в тесовый гроб.

Водицей мертвой орошу,
плесну живой водой,
в сырой бузинник приглашу,
промолвлю: «Пташка, пой».

А он мне скажет: «Зачерпни
из серого ручья...»

В овраге – тень, коряги, пни,
и вся земля – ничья.

В овраге – щедрый курослеп,
в овраге – жгучий луч.
Босой следок за мною вслед –
опаслив да бегуч.

В овраге – смуглых черепков
прохладная глазурь.
Под камнем сорок ветерков
припрятано для бурь.

А вот черемухи чумной
задымленный рукав.
Какое небо надо мной
встает из глуби трав!

Здесь, среди битого стекла,
мой начинался путь.
И хоть к тебе – а не смогла
я с той тропы свернуть!

1983

* * *

В четыре стороны легли дороги:
роится свет или клубится мгла?..
Но вы не так бедны и одиноки,
стихи мои, как с вами я была.

И вам совсем не те пристали крылья,
не та отрада и не та печаль,
с какими я дорогой чернобылья
уйду одна – в забывчивую даль.

1978

Anno Domini

...Но чем мне этот месяц так тяжел?
А может, год назвался: високосный?..
Вот – море, дюны, розовые сосны,
янтарный запах желтоглазых смол,
а впереди – еще такие весны!..
Но тот, на юге, страшный голос волн...
Сухая Ялта. Каменистый мол.
И острый ветер утренних предгорий,
и тонкий смрад самшитовых аллей,
пока военный грузный санаторий
пугал чугунной пышностью своей...

1973

И пересвист балтийских соловьев
казался мне мудреней и прохладней,
чем тех, кого не может безоглядней
на свете быть: у ламских берегов!

Где подымалась выше головы
уже в июне душная крапива,
и бузина цвела нетерпеливо
цветами масти солнечной травы.

И старых яблонь красноватый цвет
дымился; о, какой же он мясистый,
бутон, откуда выйдет золотистый,
как бы землей присыпанный ранет!

И полосатый, как дворовый кот,
в сквозных волнах сирени одичалой
купался шмель, — о той пушнине малой
Московия не ведала хлопот!²⁰

И белизной фарфоровой цвела,
качая блюдца плоские, калина...
А говорили: северная глина,
невеселы у пахаря дела!

И говорили: этот скудозём
не зря родным народом позаброшен,
тут не дожидаться пиршественных брашен:
он нищ, сырой московский оком...

Он тощ, и вот соседственная Тверь
на льне, а не на злаках богатела,
и ежели купечество — дебело,
то потому, что у Ганзы пример

²⁰ В Московской области, как и вообще в Нечерноземье, исчезают шмели.

умело брать – и не сидело сиднем,
покуда рос застенчивый ленок,
а доходило до морей, до Хинди-
страны, что залегла наискосок

от самой южной, от степной окраины,
где рыскал волк, да дерзкий печенег,
да рысь-татарин... Преисполнен тайны
земли российской неизбывный брег.

Чуть кончится, чуть глянет закордоньем,
а тут и грянь знакомец-соловей...
Водой балтийской, подсолив, наполним
стакан и песню, что – повеселей,

затянем, потому что будет туго,
так может быть! – уж слишком хороша,
плескалась жизнь; от севера до юга
светился край мой – вотчина, душа...

иль вымысел того землепроходца,
кто, нежели в чужбине помереть, –
пустыней влекся на мираж колодца,
где ведрышко
берестяное бьется,
где солнышко на донышке смеется,
где всё – отрада, хоть бы даже смерть!
1986

Музыка

в саду

Еще слаба, еще мала,
еще спала бы смело!..
Еще вчерашняя пчела –
и та не пролетела.

И все влажнó, и все в цвету,
и все-то сердцу мило...
И в дождевую духоту
на двор я выходила.

К оврагу, винной бузиной
задымленному круто, –
и голос вспыхивал родной
тотчас... через минуту.

Со дня, от корня, изнутри
лозы, листом поросшей...
И птица северной зари
уже царит над рощей!

Черёмушная... Средь осин,
в сиреннике заглохшем,
в сплетенье ивовых корзин –
свой голосок полощет!

В чаду весны, в плену ветвей,
при огневом восходе,
поет об участи моей,
о родине заводит...

А я – бессмысленна, пуста,
во всем равна растенью,
тиха, как немота куста,
охваченного пеньем.

И ничего-то не пойму
в его лесной природе.

Но страшно сердцу моему –
и безмятежно вроде...

И скоро утро, и пчела
пьяна дневной заботой...

Еще слаба, еще мала –
не совладать с дремотой...

1977

На сопках Маньчжурии

И. С. Козловскому

Эта грусть не сейчас родилась.
Это звякнул «Георгий» в коробке.
Это льется над родиной вальс,
заливая маньчжурские сопки.

А в окне столб луны голубой –
словно хлынуло море на сушу.
Бескозырки плывут чередой
по мою сухопутную душу.

Далека ты, родная земля,
не видать в этом желтом тумане.
Гаолян покрывает поля,
точно сплю я сама в гаоляне.

Это с черной тарелки певец –
с черной пахоты, из-под Полтавы...
Где ж ты, лирник, рыдальщик, гонец –
вестовой нашей горестной славы?

Под конец еле слышен рассказ,
заносимый песком и метелью...
Это льется над родиной вальс –
над твоей и моей колыбелью.

1980

* * *

А голос матери моей
молчал... Такая ли там глина,
что от бесснежных январей
на горле грудями камней,
пудами жадных янтарей
застыла?.. В этом ли причина,
что голос матери моей –
добыча дождевых червей,
полёвок, тучных голубей,
грачей в растрепанных сутанах,
что голос матери моей
клокочет, как пустой ручей,
свисает с розовых корней
в зыбучих, чужедальних странах?..

1974

Облака монастырской сирени
цвета гулкой июльской грозы.
И легла на сухие ступени
тень приبلудной лохматой козы.

Серебро высекают копытца,
а в глазах – два медовых огня.
У меня – что за платье из ситца!
Что за полдень звенит у меня!

Золотое шуршанье в бурьяне,
блеск лимонницы, рваный полет...
И стоят луговые герани
у распахнутых в вечность ворот.

До чего ж этот камень упорный!..
Бузиною резною укрыт,
тут бессмертный советник надворный
в одночасье с супругой зарыт.

Говорит мне: «Желанная гостья
на моем разливанном пиру,
хорошо мне на сельском погосте!»
Говорит: «Никогда не умру».

Тут какой-то прижимистый пахарь,
что землицы в запас приберег,
разостлал мне льняную рубаху
у крапивой обстреканных ног.

Говорит... Только каменным словом
загустел средь крапивы рассказ:
нарекли, мол, Иваном Петровым,
отпевали на яблочный Спас...

Полотном небеленым сверкает
белый камень – широк и горяч.

В желобок говорливо стекает
водосвятный приветливый ключ.

И в разгаре своем косовица
замерла... И пустынно в селе...
Сон полдневный мне медленно снится –
точно сплю я в совином дупле.

Хорошо мне! Далёко, далече
забрела я: ни троп, ни дорог...
И вьюнок мне взбегаёт на плечи
загорелые, – белый вьюнок.

Снится мне, что сиреневой грозди –
среди белого душного дня –
голубые, горячие гвозди
прямо к небу прибили меня.

Прямо к узким распахнутым крыльям
черной ласточки... Прямо к земле,
к теплым плитам и травам обильным,
к перегнутой, суглинка, золе.

Потому что и в небе высоком
пахнет этой живучей землей.
И медовым прищурилось оком
солнце, низко кружась надо мной:

словно я на раскат колокольни
поднялась, задохнулась в пыли...
чтоб узнать, что родней и привольней
не видать в поднебесьи земли!

1980

Эта осень и студит, и тлеет,
а туда ж: помяни, мол, добром!
Лишь татарник отцветший провеет
волокнистым своим серебром.

Да гармошки воскресные взвизги,
да при виде подросших котят
воробьи, точно серые брызги,
из полыни на воздух взлетят...

Этим звукам я даром не внемлю,
этих красок в запас не беру:
все, что помню про милую землю,
все, что знаю, легко раздарю.

Что за дивную встречу работу:
на сентябрьской заре – сенокос!
Муравьев медно-красную роту
кто-то кличет под корни берез.

И последняя эта пробежка,
и поспешный к зиме поворот –
словно беженцев пеших тележка:
неизвестно, куда довезет!

Грубовато настроена лира:
контрабасят, суфлерят, пищат, –
но, похоже, играют Шекспира
в недрах трав, что под ветром сипят...

Малых тварей заумные лица,
крыл кургузых медовый полет, –
может, это кому пригодится?
может, кто-то мотив подберет?

Может, вспыхнет такая погода,
гром с небес – и ночной ледоход,

что, себе изумляясь, природа
сходство слова и бога найдет?

Сходство душ – и бесстрастного плана,
по которому вышли дубы
в лесостепь – и трубят из тумана
в глухоту человеческой судьбы;

по которому мне полагалась
эта легкая ловчая снасть
да вон та бессловесная жалость,
что когда-то любовью звалась...

1977

Посвящение

...А слово, нами молвленное здесь,
единственную выбрало отчизну,
где всё ему в укор – хула и честь
и пиршество, похожее на тризну;

где всё ему в награду – торжество
рябин, надевших огненные шапки,
и тень куста, что прятала его –
сбежавшее из порванной тетрадки;

где всё ему в науку – черепки
угасших душ, – и внемлет спозаранку:
вальки грохочут низко у реки,
вороны начинают перебранку;

где всё ему в разлуку: всхлипы трав,
пастуший луг, орешник волоокий,
и острый блеск межи, куда, устав,
падет, как семя, слыша гул далекий;

где всё ему в новинку: косогор,
овсяных нив сухое дуновенье
и старых мыслей влажное течение,
что и забвенье – вовсе не позор:
не на чужбине все-таки забвенье...

1979

Старая мелодия

Что за ночь! Соловьиное пенье,
в небесах – молодые огни,
сам Господь голубые сирени
рисовал в этой влажной тени.

Сам Господь, позабыв про заботу,
как дитя – затаясь в лопухах,
в курослеп рассыпáл позолоту,
оставлял жемчуга на ветвях.

И в крестьянском суровом наряде
проходил по глубоким лесам,
чтоб льняные прохладные пряди
порасчесывать нежным хвощам.

И река, лозняком опушаясь,
не темнела до самой зари:
по воде – чуть дрожа, остужаясь –
простирались, лучась, янтари...

1971

Сады цветут

1

Ах, в моей соловьиной глуши
все ручьи, все кусты хороши:
всюду россыпи знойного пенья!
Взмах черемух, кривая ветла
да река, что травой поросла,
вороненка лазурные перья!
Не нужна щеголиха-свирель:
это май, это поздний апрель
овекает веселое горло.
Как свою раскаленную трель
контрабасит обугленный шмель!
Как черешенный лепет метель
над землей сыроватой простерла!
И опять – удалой соловей
над притихшей подругой своей,
приподняв худощавые плечи,
сыплет жемчуг с высоких ветвей,
всё вольней, всё щедрей, все нежней
соловьем повторяясь далече...

2

Слышишь: мыши ушли из избы, –
что за прок от такой голытьбы?..
Верный кот полутьмой верховодит.
Прячет песню в весенних усах,
весь черемухой душной пропах,
жарким глазом шмелиным поводит.
Он не зря пристрастился ко мне,
мы обучены с ним наравне

безрассудно воспетой свободе:
осторожно, как будто – крылат,
весь в мехах, птицелов, птицекрад,
в озаренные травы уходит...

1971

Посмертная книга

Памяти Николая Ушакова

Весна посмертная поэта
жива старинностью святой.
И в старый плащ она одета,
и держит зонт немолодой.

Лицо закинута, омыто
слезами, пылью ли дорог...
К родне губернской, именитой
вот так ступают на порог.

И, собственно, какие вести
она умеет принести?
Сирень, зацветшую в предместьи,
на юго-западном пути?..

Какою исповедью тайной
она, незванная, полна?
И речь, смягченная Украиной,
и дальних близких имена

уже не столько и волнуют
под сенью северных берез...
А май, как непогодь, лютует:
всё цветом яблони занес!

А вот и ласточки присели,
затмив мгновенной чернотой
картуш, изваянный Растрелли,
Андрея крестик золотой²¹.

А вот шарманщик на брусчатке
и юный гимназист в окне.

²¹ Андреевская церковь в Киеве, построенная Растрелли.

Ах, что-то в мире не в порядке:
весь Трансвааль горит в огне!

И, в память славному столетию,
она приводит за собой
луну, сверкающую медью,
оркестр вечерний полковой.

И за строкой, почти не нужной –
и так уж раскачался звон, –
ты видишь: город твой жемчужный
маньчжурской пылью занесен.

И к часу, как слепой поручик
вернется с первой мировой,
она всю душеньку измучит
своею болью молодой...

А после – спутанные строфы,
где мужичье – *как татарва*,
где нежно-розовый картофель
и розы сизая ботва.

И та ликующая проза,
где человек уже забыт.
Она не жухнет от мороза:
сама что хочешь леденит!

Но ей, однако ж, втайне пелось –
украдкой, в скобках, на полях,
когда удушливая зрелость
скрипела углем на зубах.

Когда не осень Перекопа,
не соль сивашских переправ –
к Востоку двигалась Европа,
семь грешных стран уже поправ.

Когда широкий ветер изгнания
нас заносил в такую даль...

Вернитесь, старые рыдания:
он весь в огне, мой Трансвааль!

Она, пожалуй, утаила
иные из черновиков:
там заголовки забелила,
тут – подрубила корень слов...

Она, должно быть, больше знает,
чем мне сегодня говорит.
Но как, затворница, страдает,
ночную бабочкой горит!

И как, не требуя признанья,
ступает в улицу мою
душой, что ищет покаянья,
душой, тоскующей в раю!

1981

* * *

Я не историю пишу,
а этот скудный день насущный,
в котором дремлет век грядущий,
привязанный к карандашу.

И тем единственным сильна,
что аху дальнему послушна,
а память столь же простодушна,
сколь коротка и зелена.

1973

Волоколамская осень

А этот дом был создан для разлуки.
Там было тихо; осторожно мыши
скреблись ногами; прятались в щелях
весенних птиц изломанные тени,
а почтальон не узнавал меня.

Лишь иногда запойная гармошка
мне доносила позднее веселье
и голоса высокие старух.

Зато к окошку приходили козы,
дразня своей взволнованной бородкой
и сединою, истомля душу
растерянными добрыми глазами –
как будто близорукие глаза
врачей из земства...

Осыпалась осень.

И по утрам уже слепил под ветром
холодный блеск жнивья... Река несла
сонливые и стынувшие воды.
Но на воде опавшая листва
сплетала дивной прихоти узоры,
и сколько счастья, сколько пышной славы
несла устало пышная вода!
Тут плавали лавровые венки
из острой зелени прибрежной ивы,
а в заводях, кружась, толпился флот –
цветастый, верткий, быстроходный, дерзкий;
перемешав державные знамена,
скользили крутогрудые суда,
фрегаты, каравеллы и фелуки,
напоминая живо времена
почтенного британца сэра Дрэйка,
школярского джентльменства и разбоя.
И кто-то им кричал: – Попутный ветер!

Я проходила колоннадой сосен,
прошитых полым стуком: это дятел
твердил, что он не покладает рук.

Потом сменялось все собачьим лаем
и высыпали звезды в черноте,
огромные, зернистые, крутые,
и уводили память на Восток.

Лишь иногда заречная гармошка
мне доносила горькое веселье
и молодые голоса старух.

Они как будто пели про цыганку,
колдунью, серебролюбку, голодранку:
мол, черная, цыганка, погадай!

Но я читала медленную книгу –
в новехонькой обложке; свежий год
проставлен был на титуле, и свежей
была печать, – но это лишь казалось!
Стариннее, печальней и знакомей
я не слыхала, не услышу слов;
«Свет мой безмерный!» – говорил поэт,
к отечеству коряво обращаясь...

И в запустенье, в глубине лесов
мне было все отлично видно.

Там

я различала сипловатый скрип
увядших трав; запасливых ежей
бесхлебицу – от выжженного лета.
И меднозвонных дундагских дубов
тяжелые курляндские напевы
гремели мне, и душный плеск волны –
той, что пьянит почти сивашской солью...
Мне было слышно сквозь высокий полдень
падение птичьего пера; раденье
удачливых товарищей моих,

и даже я усмешку угадала,
которую ты вовсе не скрываешь,
читая эти строки...

Быть тому,
что именуют горем и разлукой,
напастью, божьей карой, окаянством,
а после просто песней назовут.

1972

Песенка перед лепным Амуром в заросшем парке

Возьми копье и стрелы,
возьми колчан и лук:
не в музыке пробелы –
в любви этих двух.

Чернеют, словно тени,
разъятые враждой,
чтоб после на колени
упасть перед тобой.

Куда нам – до победы...
Живем, копя грехи,
надеждами на беды,
а после – на стихи.

В десятом поколении
под розовой свечой
сплетутся наши тени,
рыдая горячо.

А ты бы пухлой ручкой, –
ах, в ямочках рукой,
венчал не внука с внучкой,
а вот его – со мной!

Но выше пьедестала
морозная трава...
И хмурится устало
Амурия голова.

1975

* * *

И вечерняя свежесть кукушки
одиночный, круглящийся звук...
А считалось: уже – ни полушки
за душой... Огляделась вокруг:

дождевая, кипучая брага
пенной Ламы – меж низких ветвей,
и бузинная влага оврага,
где зацокал, в слезах, соловей...

Разве я разлучаюсь с тобою,
белый свет, водоносная мгла,
с этой узкою, щучьей рекою
и с тобой, золотая ветла?

Разве я ускользаю навеки
от разлук, от румяной земли,
от рыдающей, песенной неги
и от вас, подмастерья мои –

на кустах, над водою и в поле?..
Что ж колотят, свистят в небеса
подмосковной, опасливой воли,
майской влаги и тьмы голоса?

Что ж ловлю – и как будто украдкой
пробегают по сердцу испуг –
над лесною, мохнатою грядкой
этот гулкий, дурманный, краткий,
одинно-круглящийся звук?..

1976

В дороге

Колокольчик звонко плачет...

П. А. Вяземский

I

Очарованье старых книг...
Наш стих – наследник русской прозы.
В безмерной глубине возник
его таинственный родник
и тот невыспренный язык,
когда уж выплаканы слезы.

Пейзаж. Всего-то полстроки...
А дале – нищая береза
да волчий взгляд из-за реки
и лошадиного навоза
на льдистой колее дымки...

Куда мы едем? Не пойму.
Как будто вспять и наудачу?
Но музыкальному уму
недаром задали задачу,

где нет путей и нет дорог,
а гонит, властвует движение;
и сердце, полное тревог,
один запомнило урок:
короток век, нещаден срок,
какой живет стихотворенье...

Его забвенью предадут –
иль станет песней безымянной,
но ты уже не нужен тут
с твоею ручкой деревянной,

с твоим обгрызанным пером,
восторгом, негою, опаской...
Что было лунным серебром,
чернеет краской типографской.

Иль так неграмотно летит,
поправлено молвой стоустой,
что бог завистливо глядит:
как между репой и капустой,

меж хомутов, серпов и кос,
близ трона, плуга, колыбели
такое слово родилось,
чтобы его бессмертно пели?..

Вот как Есенина поют
и князя Вяземского даже,
а те — в раю они живут
иль где? — но вовсе без поклажи

отплыли на могучий брег,
откуда вся видна до края
земля, где слабый человек
кружит, их долю повторяя.

И возникают не слова,
не боль, не сумрачные мысли,
а что-то связанное едва,
но с парой рифм на коромысле...

Уже от вьюги он седой,
и клонит смертная дремота...
Но колокольчик под дугой
сам выборматывает что-то:

так однозвучно, так легко,
так небывало, так похоже, —
то, что забыто глубоко,
а вспомнишь — и мороз по коже...

II

Ты это песней назовешь
иль той лесостепною прозой,

где зыблется под ветром рожь,
закат лесною пышет розой,

белеет платье у реки,
плывут меж копнами туманы;
где величавы старики,
а жены русы и румяны;

что затмевается простым
отчизны именем: Россия,
чей сладок звук, чей горек дым, —
и вьются ленты верстовые...

1970, 1987

Когда красавицей была,
когда душой твоей владела,
когда оливковое тело
как будто душу берегла;

когда черемуха мела
по голубому Подмосковью;
когда бессмертною любовью
любовь умершую звала;

когда береза, как сестра,
под ветром примеряла серьги,
а там, у чернышевской церкви,
всходили нежно клевера;

когда широкие леса
кукушка гулко окликала, —
я никого не узнавала,
а только шла на голоса

и только думала: продлись,
земли сырой родное счастье,
а вы, нивянки, разукрасьте
за речкой даль, за речкой близь,

а ты, пшеница, колосись
по обе стороны дороги,
а вы повремените, сроки
прощанья — длительностью в жизнь!

И ты, кого еще люблю,
и ты, кого еще лелею,
поберегись: казною всею
еще заплатишь соловью,

заплатишь знобким вечерам,
моим бузинникам горячим

и тем заносчивым, незрячим,
тобой не читанным словам,

какие в книжицу мою
весна московская вписала, —
когда красавицей слыла,
когда разлучницей бывала!

Когда ступала золотым
лужком удушливой сурепки...
А после — ветошки да щепки,
и эта гарь, и этот дым.

А после — только черепки
той виноградной полной чаши,
в которой смех и слезы наши
еще горят среди строки,

еще уводят за село,
еще сажают под окошко,
где бродит горькая гармошка
и всю-то ноченьку светло!

1983

В Спасском-Лутовинове

Что тебе – до безрадостных строчек? –
я б сама променяла их стон
на степных, подрумяненных ночек
колокольный, малиновый звон!

На дорогу из темного ситца,
золотых одуванчиков мех...
В Лутовинове сохнет девица,
от мирских отказавшись утех.

В Лутовинове – куры и травы,
да портреты взлетают со стен.
Я ведь тоже пригублю отравы
сладковатых любовных измен.

Я ведь тоже узнаю, что море,
омывая головку цветка,
так рифмуется с крохотным: горе, –
что какая же это тоска?!

Что какой же мне нужно свободы,
коль у пирса гудят корабли –
словно весть, что огромные
воды залегли у окраин земли;

коль сама луговая дорога
да сырая лазурная степь
для меня испросили у Бога
этот легкий, с половиною, хлеб,

эти сладкие звуки разлуки,
эти хриплые зовы тоски,
эти жадные, темные руки,
что сжимают сухие виски!

1975

* * *

Была ко мне жестокой
последняя любовь.
За око – только око
брала и кровь – за кровь.

Скупой, немилосердной
она ко мне была
и на неделе вербной
снежинками цвела.

И поле корчевала,
в котором я расту,
и вьюгой заметала
зеленую версту.

А только разлучилась
с печальницею – мной,
луной засеребрилась,
озерною волной.

И рыбкой золотою
просилась в невода.
А все была бедою.

Минуй меня, беда!

1985

Северо-Запад

А где-то юг: приморский ветерок!..
И тульские, орловские дубровы...
А здесь – листвы удушливый глоток,
и глины желто-карий лепесток,
и мягко, низко пролетают совы.

И если в полночь выйду на крыльцо,
при позднем, отлетающем ударе,
к туманным звездам медное лицо
закину – в жестком северном загаре, –

то ни о ком уж больше не грущу,
лишь тайно – в темноте и в позолоте –
то ль над судьбой полевок трепещу,
а то ль крылатой радуюсь охоте

и сторожу: взошла иль не взошла
луна над шумной, темноводной чашей,
коснусь ствола – как будто бы весла, –
скользя по этой полночи летящей

куда-то вспять, в те длинные года,
когда, едва проспавшись после свадьбы,
жену-неровню увозил сюда
вдовец, владелец гибельной усадьбы...

Ему-то что: бродяжит средь болот
с кровавой связкой уток серокрылых.
А ей – тетрадь, куда писать расход
муки и дров, – все пальчики в чернилах! –

свечей и соли, солода и вин, –
какие вина в этом захолустье?..

А всё ж учись – неволит господин –
знать толк в соленьях, репе и капусте!

Поглядывай на девушек сенных:
снут ли веретена, как ведется,
поскольку из товаров даровых
один лишь холст в столице продается.

Следи, цветет ли ясноглазый лен
и что желтеет: рожь или сурепка...
И не заметишь, как в тебя влюблен
сосед... Он ездит нехотя и редко.

Он ездит часто! В бричке иль верхом,
не доезжая до еловой рощи,
откуда виден этот хмурый дом
и на веранде – платье... Нету прощя

тех ситцев, что кроит себе сама
былая бесприданница-смолянка!
А этот дом – ей вовсе не тюрьма,
но рай, где ткется скатерть-самобранка:

покуда муж в отъезде иль кутит
в губернии, недель не замечая,
ей сказки вечерами говорит
седая нянька, барчука качая...

А тихая хозяйка, отложив
шитье, и счеты, и заемных писем
стопу, как будто слушает мотив,
какой пристал, быть может, горним высям.

А после, пред иконою с колен
не подымаясь и скорбя до света,
прощенья просит у белых стен
за то, что ждет – хоть к празднику? – соседа.

За то, что нынче занесла в тетрадь
совсем не то, чем вотчина богата, –
мол, в Духов день – такая благодать,
как будто солнцу не видать заката:

румянится и север, и седой,
дождем, бывало, отягченный запад,
ну точно бы шиповник распашной
цветет, струя медово-знойный запах...

Как будто в поднебесье он расцвел –
и несколько кустов слетело наземь
для бурых пчелок – золотистых пчел,
густых отваров, благовонных масел...

А если выйдешь в дальние луга,
покуда отдыхает косовица, –
тебе приснятся вовсе не стога,
а главы храмов – Град тебе приснится

неведомый, где ангелы поют,
возносят в синь ликующие трубы...
Часы в столовой хриплым басом бьют.
Ужели рифма опалила губы

хозяйке-неумехе иль рабе,
той столбовой – да без двора! – дворянке?..

Гниет камыш на угловой избе.
Во всем селе – ни шифера, ни дранки.

Во всем селе – ни телки, ни козы,
лишь чавкает болотная водица.

И морось, наподобие слезы,
с утра на тусклых стеклах серебрится.

Плывут в тумане дымные кусты
недужного столетнего жасмина...
Щедра же ты на тайные мечты
и привиденья, северная глина!

И что с того, что нету и следа
той жизни, о которой в колотушки

среди круглых лилий сонного пруда
гремят, как в той Кастилии, лягушки?

И что с того, что пущен с молотка
тот дом, где я брожу теперь украдкой,
совой взлетаю или сплю века,
и греюсь теплой пылью чердака,
и грежу над прабабкиной тетрадкой?..

Что выцвел, словно поседелый мак,
печальный флаг над крышей сельсовета;
ручей гневливо катится в овраг,
кружа листок: «Прием после обеда»...

Что мстительно сырой овражный ветер
гудит в крапивном, дышащем горниле,
вздымая весть из потрясенных недр:
«В запрошлый год тебя похоронили!»

В запрошлый век... Не ведаю, когда...
И голосом владеть уже забыла.

А кажется: была я молода
и землю эту тесную любила!

1987

● * * *

Ах, на той, на веселой неделе
я ушла – не прикрыла дверей:
будто кони, снега налетели,
лес румян – в костерках снегирей!
Погляди: даже те посветлели
как монахини, темные ели
в черных платах до самых бровей!

1974

Не рыдай мене, мати...

Дует холодом в зябкие плечи,
опускается первый снежок.
Все пространство эпической речи
залегло в перекрестье дорог.

Влево ступишь – коня потеряешь,
вправо – голову выйдешь сложить...
С колыбели об этом ты знаешь,
так что нечего вроде тужить.

И гадать, как сбылось, как случилось,
что проплыл каравай мимо рта,
обернулась опалою милость,
вся в дыму – горизонта черта...

Только ласточки в лето расплаты,
разлетаясь с утра в небосвод,
прозвенят, как мы были богаты,
как стояли у низких ворот.

Как веселое время летело,
как вздыхала в овраге вода...
Никакого мне не было дела
до тебя, горевая страда!

Никакого не ведала права
так назвать этот сумрачный лист
лопуха, чтоб кололась отава,
прорастая из темных страниц.

Никакого не видела толка
в горделивой науке разлук.
Отчего эта девушка смолкла?
Что ж ты выпустил вожжи из рук?

И куда легконогая юность
по горячей тропинке ушла?
Я сегодня пораньше проснулась:
а земля-то, как вишни, бела!

А у дома – ни стен и ни крыши,
у двора – ни замка, ни ворот:
все мой слух, что не молвлено, слышит,
все мой взор проникает вперед.

Ничего не случится с отчизной,
не убудет ее ничего –
лишь рябина кровавою тризной
обагрят мое торжество.

Слава Богу, что с нашим уходом
будет родина так же юна,
и обильна прохожим народом,
и любовью, как чаша, полна.

Слава Богу, не чувствуя боли,
выхожу к перекрестью дорог.
Разгуляется... Снежная воля...
Полный звездами синий платок.

И в наплывах декабрьского света
вижу темные спины раки.
«Не рыдай мене...» – сердце поэта
светлой родине слёз говорит.

1981

Признание

Свела нас вовсе не любовь,
а только медленная мука,
реки вечерняя излука,
воды остуженная кровь.

Свели нас эти берега
и трель в черемушнике белом
певца, пушистым малым телом
дрожавшего из-под листка.

Свела нас эта простота
ночного жадного объятья –
как будто бы могла желать я,
как будто духом я чиста.

Как будто ты заменишь мне
бессмертную, родную юность.
Как снегопадом затянулось
окно и дерево в окне.

Где тот, удачливый, стоял,
где тот, утешливый, лелеял
мой сон, – но это ангел реял
и тихий небосвод сиял!

И было где-то впереди
глухое *некогда* *восплачу*...
А ныне – только то и значу,
что 'наворкует' боль в груди;

что навевает темный страх
пред белоснежным днем грядущим,
перед бузинником цветущим
с седым соловушкой в ветвях...

1984

Три стихотворения

1

Тот человек проходит
зеленой стороной
и темных глаз не сводит —
видать, следит за мной:

не поздно ли я встала,
не рано ли легла,
душою ли устала,
иль просто проспала

тот день, как в путь последний
он, может быть, уплыл.
Тот день, когда в передней
пальто свое забыл.

Тот сон, когда, веселый,
всходил он на крыльцо.
Седая маттиола
мне веяла в лицо.

Забычивые розы
склонялись надо мной.
Непрошенные слезы.
Негаданный покой.

А было столько юга
у северной земли.
Прощай, моя разлука,
зарытая в пыли

при солнечной дороге,
у сумрачной ветлы...
Да будут эти строки
душе его милы.

2

Ужели чаша выпита до дна?
Ужели даже смерть его не встречу
гортанною, заплаканною речью
о том, что в огороде – бузина?

Ужели я от памяти вольна?
Ужели я от юности свободна,
когда иду тропой твоей болотной,
моя волоколамская страна, –

когда плывет черемуховый дух
со дна оврага к морю небосвода...
Глухой травой поросли ворота,
в которые, смеясь, входил мой друг.

Которые оплел теперь вьюнок
и старый тополь позасыпал снегом.
А если встречу с этим человеком,
то – молча, очи долу, между строк...

То медленно и бережно пройду –
так, между трав, я шла, бывало, в поле,
где каждый злак мне пел о вольной воле,
суля мне боль – и сердца пустоту.

3

На море и на суше
глициния цвела.
Смеялись наши души
да плакали тела.

Вбирают эти розы
последнюю зарю.
Сквозь медленные слезы
в лицо твое смотрю.

1980

* * *

То не я, это радостный бог
плечи мне этой вышитой шалью
спеленал, чтоб глубокий оброк
я сложила к тебе на порог,
чтоб легко утолялась печалью.

...Я пасла белопёрых гусей,
тек ручей, желтый хлеб молотился,
всех атласней и всех голубей
лен-разлапушка в поле светился,
только ты всё бедней и бедней
с каждым часом моим становился!

Я звала... Только ты – все старей:
туж ли на ухо? гол для полета? –
у тебя ведь такая работа:
без любви, без пылинки, без пота,
без земли, что свисает с корней!

И тогда, обратясь на восток,
обмирая над ветхою шалью,
я сказала: – О ласковый бог,
этой вышитой тряпки кусок
ты ему бы швырнул на порог, –
чтоб глубокий платил он оброк,
чтоб легко утолялся печалью!

1975

● * * *

Я сорок роз, возможно, призову, –
гляди: летит их сумрачная стая! –
оттуда, где бывала наяву
я – гордая, скупая, молодая,

еще таясь и брезгуя судьбой,
еще лелея дерзостные мысли
прослыть неопалимой купиной,
владычицей, неверною женой,
да только мыши этот рай прогрызли!

Да только – старость ломится в окно,
да тклет паук свою ночную пряжу,
да вот возьму сырое полотно –
быть может, праздным словом разукрашу...

1977

Музыка в купеческом саду

1

Ах, этот тополь
нынче околдован
луной широкой.
Он облит молчаньем.
Он кажется натянутой струной
между землей
и высотой звездной.
Чуть прикоснешься –
серебристым звоном
наполнится глубокий горизонт...

2

А я возьму в прихожей
ветхий зонт,
прабабкин, в клочьях кружева седого,
и бережно,

 не выронив ни слова,
с лукошком,
вдоль по улице пойду.
Я знаю: там, в Купеческом саду,
до самой ночи музыка играет,
и соловей к июлю не смолкает,
и прямо к райским небесам взлетает
вихрь увертюры –
мол, *Орфей в аду!*.
Такой зеленый нынче вышел год,
хмелит горячий запах земляники,
а зонтик стелет шелковые блики,
и вот никто меня не узнаёт.
Ручьем течет нарядная толпа,
в которой вспыхивает польский говор.
Мне тоже бы пристал шляхетский гонор –
по крови, но душою я проста.

И мне милее горькая судьба
истлевших в чернобылье гайдамаков,
а впрочем, всякий корень в поле – лаком:
не проноси, голубка, мимо рта!
Афишной тумбы круглая строка
гласит о знаменитом бенефисе,
но в красоте актрисы – что-то лисье,
иль это так топорщатся меха?..
Вот – нежной гимназистки черный бант.
А вот – кадет. Какой же краснощекий! –
как духовой военный музыкант,
зато глаза – с печальной поволокой...
Но вот – пюпитр, что аист, одноногий.
Сверкнул моноклем
престарелый франт,
и вдруг как бы повеяло Востоком:
не папиросы ли витой дымок?..
С шипучей сельтерской катит возок,
в митенке ручка поправляет локон –
покуда о Франческе бредит Дант
мучительным виолончельным слогом,
а дирижер в истоме изнемог:
как будто рухнул – в сломанном, глубоком
поклоне, и опасливый хлопок
такую бурю стронул ненароком...
И никому-то, боже, невдомек,
о чем вскричит с мальчишеским восторгом
босой газетчик, маленький педант:
мол, давеча, в Сараеве далеком,
убит, убит эрцгерцог Фердинанд!..

Так что же – счастье: сон, или талант,
иль этот путь к развеянным истокам,
вдоль тополей,
под солнцем невысоким?

Там нет меня! Совсем другая шла
зеленою Владимирскою горкой
и ласковой своей скороговоркой,
как беглой искрой, мне рукав прожгла.
Душистая акация цвела
бурунами, на синеве вскипая,
и жизнь казалась без конца и края,
пока Софии тучка золотая
плыла, крестами звонкими сверкая
в сырой листве...

Но той, щеголеватой,
пропахшей, правда, огородной мятой,
да зонтичным укропом по-за хатой,
да бархатом петунии разлатой, –
жених – уж не Георгий ли крылатый? –
израненный,

примчится к ней во сне
на галицийском черном скакуне, –
ей было так печально суждено:
угаснуть под оливковой лампадой,
уснуть в ладье лощины благодатной,
в лесу смычков, в середине «Песни пятой»,
на Приднпровье...

4

В узкое окно,
дыша декабрьской солнечной прохладой,
на Арно смотрит женщина другая,
как здешний ирис – дымчато-седая...
Как пусто во Флоренции богатой!

Грифоны, львы иль каменные дрофы
когтят из ада вырванные строфы...
Сверкни же ей, орлиноокий профиль,
ты, ангел иль латинский Мефистофель
в летящем, словно буря, домино!

Так вот куда запутанные тропы
вели – на берег пасмурной Европы:
бежит клубок, и светлое руно
струится в даль, хоть стрижено в отчизне.
Я здесь бывала в каждой прежней жизни,
пригубив чарку на широкой тризне,
я слышала: опять стучат в окно! –
не тополем, так темным кипарисом,
не терном, так сыпучим барбарисом,
и был мой путь от смерти независим,
покуда в пашню падало зерно.

Дымится Арно мутное вино, –
а может, это медленная Лета
полощется почти у края света,
наш вздох последний унося на дно...

Но что ты, сердце, ведаешь о тлене?
Ты спишь в степи казацкой иль в Равенне,
в осоке ли, в безлистой ли сирени,
вблизи ручья ли, в горькой ли пыли, –
ах, только бы в груди родной земли!

Мгновенья ли, столетья ли прошли?..
Всё те же эти пышные палаты,
и гвельфов дом, раздорами чреватый,
косматые декабрьские закаты,
когда пылают в небе корабли,
очаг угасший стерегут пенаты
и чьи-то руки вокруг чела земли
венки из маков траурных сплели...

Так вспархивай, малыш, амур Верроккьо,
как воробей, забившийся глубоко
в колодец Синьории, где томима
гордыней ветвь разумного Козимо;
где в зале для Совета Пятисот
торговых не убавилось хлопот.

Как демоны, кричат автомобили.
А мы здесь грезы райские зарыли.
Но в дымной этой, каменной пустыне
мост ювелиров катится в глаза...
Так улыбнись же нам, Персей Челлини,
главу Горгоны взяв за волоса!

Но все, что грохотало, вдруг умолкло.
И эта тишина теперь надолго.
В скалистой гулкой улочке темно.
В стога столетий лунною иголкой
скользну, воткусь былинкой в полотно...
Отмоленная древней богомолкой,
пригублю, Арно, вновь твое вино!

* * *

А меня вела беда
да под локоточки.
Алым перышком с листа
соскребала строчки.

Обувала в лапотки
малого дитяти,
обстригала коготки,
раздирала платье,
чтоб стояла, не дыша,
не давясь смехом:
моего карандаша
не видать под снегом!..

1975

Я не забвения страшусь,
а памяти людской:
ведь не отлыну – возвращусь,
на камушек морской
присяду снова вековать,
припоминать свой дом,
а может – чайкой горевать
над высохшим прудом.

Я не забвения страшусь,
а верности людской.
В полночный ставень постучусь –
услышу храп мужской,
услышу плач, услышу брань
и тонких роз полет;
в такую рань, в такую рань
опять петух поет!

Опять окно выходит в сад,
опять за садом – ров,
и что-то люди говорят –
не про мою ли кровь?

Не про твое ль житье-бытье?
Не про весны приход?
Но это перышко – мое –
чужой малец грызет!

Но это зернышко – мое –
пылится на току,
и лычко – драное старье –
поволокли в строку...

И снова речи говорят
девчонка и солдат.
Как будто старое твердят,
да только – невпопад.

Ее на запад он зовет,
не разжимая губ.
А мне бы воздуха глоток,
ах, мне бы ваших мук!
А я летела б на восток,
а мне лететь — на юг:
там начинался этот свод
земли — и этот звук!

1975

* * *

Молве полей, тоске заречной
учу мой голос чуть живой,
чтоб в чьей-то тягости сердечной,
что молча плачет за стеной;
у глади вод, в золе запечной,
в земле, проколотой клюкой,
и даже — в юности беспечной,
что цедит в полночь козодой, —
расслышал песни просторечной
бессонный звон сторожевой...

1978

* * *

Не разлука с тобою легка мне...
Но черемухи серенький мел
на оконной облупленной раме,
осыпаясь, вчера пробелел.

Чуть раздвинула мокрые ветки –
потянуло речным сквозняком:
одуряющим медом сурепки,
бурых пчел золотистым комком.

И от этих размытых ступеней
шаг один до старинной земли –
до моих розоватых сиреней,
где тяжелые виснут шмели.

Не разлука с тобою легка мне –
но желтеет церковный придел:
сквозь московский классический камень,
задыхаясь, пророс чистотел.

Запустенье! И эта свобода –
и неволю добром поминать
да в сырую лазурь небосвода
птичьи перья с тоской окунать...

1976

* * *

Ах, он-то знал, как серебрится золото,
как широки и каменны палаты,
как сладко это – женщин целовать...

Я перед ним так страшно виновата
(а слезы – соловьиная расплата!),
моей вины ему бы не поднять.

И я тогда сказала: – Боже, Боже,
отдай ему весь этот мир пригожий,
а мне оставь черемушную пядь

моей земли, песчаной, подмосковной,
моей страны, запасливой, огромной, –
мне ль да не знать, как у тоски любовной
нечаянные песни занимать?

1973

* * *

Сергею Козлову

Ты ль сожжешь эти голые строки,
я ль расчетливо стронусь с ума, –
преподавшего эти уроки
я, пожалуй, учила сама!

Мне ль заплакать?.. Я это знавала
прежде памяти, горше любви:
под соломенной крышей вокзала
спят, в ожогах, мои соловьи.

Но – какое ж священное чувство
и какая дымится труба,
если жизнь отрицает искусство
и лежит перед ним, как раба?!

1975

* * *

О, я знаю, что всё впереди –
целый век! И со мной остается
этот край, где гуляют дожди,
под которые грустно поется.

О, я знаю, что чаша – полна
и, пожалуй, вином пламенеет.
Только что ж воровато чернеет –
отгорела уже! – бузина?

О, я знаю, он очень далек,
день, которого вовсе не будет.
И цветет янтарями восток,
и лицо воспаленное студит.

И опять так отменно речист
воробей, будто хлебом обилен,
и блестит подорожника лист,
зелен, будто и впрямь семижилен.

1972

* * *

...Но к сердцу подступает тишина,
и под луной блестит такое поле,
где я и впрямь бездомна и бедна –
ненужная, отпетая для боли!

Уже не скрипка – чтоб на ней скорбеть,
уже не куст, пригодный для свирели, –
и нечего пророчить и жалеть
об этом мудром, высушенном теле!

Смотрю – не так и думаю – не так...
Всего ж скучней, а может быть, прелестней,
как ты меня, безмолвную, чужак,
равнял с пугливой птицей в поднебесье,

когда ее, на камушке, к воде
приманивал – и было все любовью:
морская ширь, и звезды в черноте,
и даже сон, упавший к изголовью, –

когда я увидала: вдалеке –
из ада выслан и из рая выжит –
горбатый ангел, с перышком в руке,
внимает мне – и в рифму что-то пишет,

а я, не разбирая ничего
в его скрипучей, ветреной работе,
сличаю голос друга моего –
и моря в розоватой позолоте...

1976

* * *

Я возьму этой осени дым,
ты – бензина... И вечность в запасе,
чтоб лететь по дорогам пустым
в баснословном твоём тарантасе!

Здравствуй, летчик, мой пеший шофер!
Меж землей и задумчивым небом
ты ли ветхие крылья протер,
озаренные утренним снегом?

Мы промчимся по рыхлым полям,
вспыхнет озимь на первом морозе.
– Дайте крылья, я – душу отдам! –
посулит перепуганным нам
жадный шмель, перетлевший в навозе.

Вóлок-Ламский... Твоя ли земля,
ты ли волоком в черное небо
на исходе горячего дня –
бессловесную – втащишь меня,
осыпая фосфат на поля,
ожидая обильного хлеба?

1974

* * *

...Но в эту ночь был так глубок
мой плач, сокрытый мною,
что я боялась слово *Бог*
произнести душою.

Что я боялась: человек —
час не ровён! — услышит...
И все валил горбатый снег
и вырос выше крыши.

Уже мой голос замело
и всё, что было мною, —
чтоб я узнала, как мало
отчаянье земное...

1977

Сосна

Ледовитой свободой моей –
не пряла, не доила, не жала,
колыбель в полутьме не качала –
я пугала бы малых детей,
я бы девушек красных стращала.

Горделивой моей прямоюй,
терпеливым моим униженьем –
что ты лобик наморщил крутой? –
я добыла бесстрашный покой,
навеваемый стихосложением.

Этим круглым распевом бровей,
этим взглядом, засушенным сухо,
я следила за тенью твоей,
а молчанье приморских камней,
под недвижной рукою моей,
становилось доступным для слуха.

И за эти пустые права,
и за эти бесправные силы,
прежде смерти, сырая трава
затолпится у серой могилы,

зацветет – чтоб удобнее лечь
было мне, чтоб украсить старуху,
чтоб расслышать не то чтобы речь,
чужестранную брату и другу, –
но дыханье бывшее сберечь,
распустить по оглохшему лугу...

Потому что такая весна
заробеет, авось, за оградой,
что и впору восстать бы от сна,
что, какой ни зовусь виноватой,

покажусь вам – корява, бедна, –
ну а все ж молода, зелена,
как сосна средь поры листопадной!

1979

* * *

...А ты меня покинешь, как поэма
вдруг покидает – в тот последний миг,
когда уже – ни близких, ни чужих,
а гром небесный так послушно тих,
как будто там парит бессмертный летчик,
как будто бы валдайский колокольчик
вниз обронил заржавленный звоночек
уже ничьих, уже остывших строчек,
умчав меня на тех – перекладных...

1973

* * *

Удержу ли листву тополей –
эту белую замшу и лайку?
Прокормлю – наряжу ль потеплей
певчих птиц омертвелую стайку?

Утаю ли на темных ветвях
медный отблеск закатного лета –
гроздь рябины, березовый прах,
огневые глаза бересклета?

Умещу ль в черновом серебре
ломких слов да любовных историй,
как синеет в пустом октябре,
обмирая, лазурный цикорий?

Как светло – улыбнувшись с утра,
сквозь дощатые щели забора
подсмотреть, как свежа детвора,
как полна новизны и задора.

Возрастает мой юный герой –
сердцеед, нечестивый читатель...
Так не зря ж над горячей корой,
лоб изранив вечерней зарей,
бьется красный, истерзанный дятел!

1974

Сентиментальная песенка

1

Я буду известный поэт –
и спутаю песенку эту.
Полсотни и несколько лет
еще поброжу я по свету.

Полсотни и несколько раз
увиджу: чернеют осины,
и дуб свои кудри отряс
в холодный суглинок равнины.

Увижу древесных смертей,
цветочных и травных притворство,
и мертвую хватку корней,
и ярких озимых упорство.

Увижу, что дятла забыл
октябрь на макушке еловой.
Что пруд, как стеклянный, застыл,
а ток завихрился половой...

А из огородных затей –
лишь груда ботвы обгорелой
да выцветший мак-богатея
кубышкой трясет опустелой.

Увижу малинник пустой
и в нищих лохмотьях крапиву,
и дымный лопух навесной,
и мокрую тропку к обрыву.

А там – приумолкший ручей
так сонно и грустно струится
меж отмелей – вовсе ничей:
ни зверь не приходит, ни птица.

И черный комок бузины:
усохшие кисточки ягод
в осенние долгие сны
последнею памятью лягут...

2

Увижу: никто никого,
пожалуй, не любит на свете,
и нету в полях ничего —
лишь дождь да ликующий ветер.

И нет чтобы вспомнить тебя,
зеленое, красное лето,
горячий платок беребя,
прощаясь, не спать до рассвета.

И той васильковой межой
вдоль ржи зацветающей — долго
идти с неразлучной душой,
которая нынче умолкла,

и, жадная, песни мои
в далекие дали умчала...
Рыбацкие гаснут огни.
В тумане не видно причала.

И меркнувшей осени вид
такую огромную жалость
внушает, что сердце болит —
как листик скукоженный сжалось.

3

Полсотни и несколько раз
соловушка шалый покинет
мои берега... Про запас —
ни перышка в мокнущей глине.

Полсотни и несколько слез
на каждый из прутьев ракиты
уронишь... А там и мороз,
и дали известкой облиты.

И лунный невидящий свет
гуляет по мгlistому свету...
Я буду забытый поэт,
придумавший песенку эту.

1983

На полустанке

А детство пахло запахом платформ,
влекущих дымовую поволоку...
Здесь даже чайки находили корм
озерные – вода неподалеку.

Здесь даже русский чистенький малец
казался вам чумазым или смуглым.
Здесь пахнет гарью вика и чабрец,
песок зернится синеватым углем.

И львиный зев иссушенную пасть
раскрыл, глотая раскаленный воздух.
А паровозам – без вести пропасть,
лоснящимся, в широких алых звездах.

А поездам – по-прежнему слепить,
пугая на безлюдном переезде.
И сизой сталью вспыхивает нить,
летающая в забвенье и в безвестье, –

как будто натекая из лесов,
взяв серебра из озера лесного,
мешая уголь с запахом цветов
и гарь – с дыханьем холода ночного.

И берег детства в осыпях седых,
курится пылью и мигает шлаком.
А ты опять взволнованно затих
пред беспризорным, одичалым злагом.

Пред низкорослой пчелкой, что сюда,
бесстрашная, с гречихи прилетела.
Клепал кузнечик эти поезда.
Здесь ласточка транзитная звенела.

Здесь бабочка капустною душой
на золотой ромашке трепетала

и клевер кормовую головой
вздымался над обломками металла.

И здешней почвы пламенный изъясн
переходил на детские рисунки.
Ты ведал, сколько вызрело семян
в укромных закромах пастушьей сумки.

Ты ведал, сколько выгонят коров
на выпас и которой – отелиться...
Вон Зорька – все-то тело из углов –
идет понуро, смотрит, как вдовица.

Ты ей навечно предан – и слепней
ольховой веткой прогоняешь в поле.
А на закате тащишься за ней
задумчиво и точно мимо воли...

И вот уже остались за спиной
молочный луг, и колея на круче,
и выхлоп, и горячий, навесной,
широкий дым – как будто хлеб пахучий...

1984

* * *

Ах, земля, твоего изобилья
не избыть и вовек не воспеть...
Вот капуста огромные крылья
распластала – не в силах взлететь!

В этом жилистом, сизом размахе –
страх предзимья, морозная мгла.
В антрацитовый влажной рубаше
ходит ворон. Косая ветла

окунула свистящие вожжи
в омут стылых, замедленных вод.
Конский круп розовеет от дрожи,
и молоденький цокает лед.

1974

Звенья

Что до тела тебе моего!
Я всегда молодела от горя:
этой горстью соленого моря
умывалась пречище всего!

Что до тела тебе моего!
Красотою себя не украшу,
не хрусталь, но щербатую чашу
припасу на свое торжество.

Не парчовый убор припасу,
не глубокого бархата платья,
а венок, что сплетала в лесу,
да вишневого цвета лозу,
под которой шептала заклатья.

Под которой за рифмой «любовь»
посылала – ни много ни мало –
эту старую, нищую «кровь»,
ибо легче – любви не знавала.

Ибо так же звучала она
в фортепьянах безумного Фета
в час, когда золотая луна
озирала, как дремлет планета:

сад за садом – до этих ворот,
где, как лед, полыхает прохлада,
где судьбы огневой поворот,
а спасенья – не надо, не надо!

А спасенье – в беспечных сердцах,
в преизбытке раздольного горя,
видишь – звук, видишь – смех на устах
плещет смелыми волнами моря.

Видишь: липнет она, как смола,
эта россыпь старинного пеня,
этот древний завет ремесла,
этих звезд беспримерные звенья!

1975

* * *

И ты прильнешь к пустому изголовью
не ведая, что я еще жива –
но не мужскою позднею любовью,
а тем холмом, где яркая трава.

Но помыслом рыдающей осины –
ее костер малинов на ветру, –
разбегом рек, податливостью глины –
и больше никогда уж не умру.

Я буду там, где я была в начале,
окликнутая будто наугад –
взять на плеча гремучие печали
и мерной речи воспаленный лад.

Кто был виновен? Медленное детство,
плывущее задумчивой пчелой?
Скрипучее семейное наследство,
разграбленное бойней мировой,

разметанное по миру – по нитке,
исчислившее голову мою?..
А вот стою у солнечной калитки
и в огороде песенку пою!

1979

* * *

Всё о том — о былом, о любимом...
Будто гляну, как прежде, окрест —
и зеленым младенческим дымом
над рекой занимается лес...

А на старой, разбитой дороге,
где пустые трехтонки пылят,
восхищенно стрекочут сороки:
в бузине — колыбель соловьят!

В бузине — в двух шагах — наклониться
над прогорклым кустом, над рекой:
это пташки, знакомые лица,
это сгорбленный шмель луговой!..

Может, вовсе не долго осталось
мне идти по осенней весне, —
а привяжется всякая малость
и напрасно запомнится мне!

Может, больше и не побываю
в этом влажном, раздетом краю,
может, вовсе своей не признаю
молчаливую юность мою,

но когда к этой узкой землице
я, слепая, прильну наугад, —

будет сухо поземка кружиться,
будет сон мне младенческий сниться,
будет саднить, и мучить, и длиться:
в бузине — колыбель соловьят!..

1978

* * *

А я сказала: «Будь мне другом,
свидетелем судьбы моей», —
покуда ты глядел с испугом
из-под нахмуренных бровей.

Пока мои слепые руки
еще тянулся целовать...
Весны моей родные звуки
уже откатывались вспять.

И я ничем уж не владела,
достойным боли и любви.
И лучезарный отблеск тела
уж не был на устах молвы.

И то, что назвалось душою
и созидалось в тишине,
как будто с полою водою
ушло, не помня обо мне.

И то, что наполняло строки
такой девичьей простотой,
желтеет, точно лист осоки
над непорочною водой.

И та, что надевала крылья
зарянок, бабочек, стрекоз,
среди густого чернобылья
уснет под шорохи берез.

И разве в запахе черемух
он пробелеет над тобой —
тот юный взмах, тот дивный промах,
что звался сумрачною... мной

и, словно жаворонка песня,
при сельской утренней звезде
теперь влетает в поднебесье
и плачет в черной борозде...

1983

* * *

Тем ли кончу, иль эдак умру, –
что за дело, пустые заботы!..
Этот ящик топорной работы
мне вполне, гробовщик, по нутру!

Оглянусь – и уйду подобру...
Крот прильнет темно-бархатной шубкой,
ель промашет дырявою юбкой,
но над строчкой, над скрипкой, над дудкой
свет затеплят в окне на юру...

1974

* * *

А та земля, в которую сойду,
которая в наследство мне досталась,
уже металась в пламенном бреде –
как будто вдруг к щеке моей прижалась.

Как будто этих пожелтелых рук
она ждала с заката до восхода,
как будто этот неутешный звук
сулит ей дождь иль солнце с небосвода.

Сулит колосья, полные зерна,
скоту – приплод, а девушке – обнову,
огонь в окне, и тени у окна,
и чью-то верность молвленному слову.

И чью-то разделенную любовь,
и кем-то сокрушенную разлуку,
и путнику – уже неожиданный кров,
и грешнику – как раз по силам муку.

Сулит весну и талый чернозем,
и эту жалость нежную к отчизне,
и всё, что мы опасливо зовем
не смертью, нет, но продолженьем жизни.

1977

* * *

Ушла в луга. Оставила записку,
что понапрасну – окликать и ждать,
что понапрасну будет гармонисту
наказывать страдания играть.

Я полюбила шепот перелеска,
высокий, прямо в душу шепоток,
и что шершава у листа нарезка,
когда ольховый падает листок.

И гул цветка ромашкового, если
горячий шмель наведался сюда,
и жаворонка в дальнем поднебесьи:
звени, певец крестьянского труда!

И этот теплый дух ржаного лета,
на спелых нивах – тени облаков...
Ушла в луга. На волю. До рассвета,
до зимних вьюг, до майских холодов.

Ушла в луга. В шелка. В зеленый омут.
В сурепкин мед, в черемуховый цвет.
А ты, кукушка, накукуй другому
таких, как мне, зеленоглазых лет.

Таких, как мне, зеленобровых речек,
таких, как мне, залитых солнцем роц
и этот путь: ни близко, ни далече, –
при жаворонках, в сомкнутую рожь...

1980

ИЗ КНИГИ

"Всю смерть поправ..."

*стихи о Родине
(90-е годы)*

От автора

<...> высшим признанием явилось для меня то, что строфы из этих стихотворений были начертаны неизвестной рукой на знаменитой стене народного горя вблизи Белого дома, на Красной Пресне. Они переписывались без имени автора и без ведома автора. И когда, в 1995 году, мелькнули в газете «Советская Россия» как творчество безымянное, «народное», я не стала доказывать, что автор – известен. Важно, чтобы стихи жили в сердцах и сознании людей, а уж кто сочинил эти строки гнева и скорби, – решила тогда я, – не так существенно...

Эти стихи сразу сложились в единую книгу. Книгу-реквием по погибшим в Останкине и Белом доме. Книгу-гимн мужеству павших. Книгу о Родине. Родине, которая стала пожарищем. Полем Скорби, но и Полем Чести, хоть и немногие вышли пока на священный бой.
<...>

Осенний парад

(7 ноября 1990 года)

Гордая радость военного марша...
Господи, благослови
Русское воинство! Родина наша
в городе, в братской крови.

Этой тяжелой взлетающей меди
тысячерукий размах.
Сон о спасении. Песнь о победе
гаснет в ненастных лучах.

Горло последним волнением сжато.
Черношинельная статья.
Море пехотное... Будет расплата
тем, кто их шлет умирать

в чуждые степи, пустыни и горы,
на аравийский Восток.
Глянем – и прячем пугливые взоры.
Нефтью вскипает песок.

Вскричем – и гоним гневливые речи.
Вóроны низко кружат.
Вот уж садятся на белые плечи...
Кровью сыреет закат.

Декабрь 1990

Час Беловежья

Когда не стало Родины моей,
я ничего об этом не слыхала:
так, Богом бережёная, хворала! –
чтоб не было мне горше и больней...

Когда не стало Родины моей,
я там была, где ни крупницы света:
заслонена, отторгнута, отпета –
иль сожжена до пепельных углей.

Когда не стало Родины моей,
я шла тропою к Неземной Отчизне.
Но даже там, как на горючей тризне,
не пел волоколамский соловей...

Когда не стало Родины моей,
в ворота ада я тогда стучала:
возьми меня!.. А только бы восстала
страна моя из немощи своей.

Когда не стало Родины моей,
воспряла смерть во всем подлунном мире,
рукой костлявой на железной лире
бряцая песнь раздора и цепей.

Когда не стало Родины моей,
Тот, кто явился к нам из Назарета,
осиротел не менее поэта
последних сроков Родины моей.

Апрель 1992

Воздвижение

Всё так же своды безмятежно-сини.
Сентябрь. Креста Господня торжество.
Но был весь мир провинцией России,
теперь она – провинция его...

31 октября 1993

СНГ. Историк

Как рассказать потомкам православных
весь смрад, весь морок преднебытия?
Как начертать с высоких букв заглавных
твое прозвание, Родина моя?

Грядущее мертво или сонливо:
когда и ступит на безлюдный двор!..
По пепелищу траурная Клио
бредет, потупя свой бесстрашный взор.

21 декабря 1993

* * *

Отложить бы ее на потом,
эту речь: как жилось ей в пустыне,
русской Музе, степной Магдалине,
с горьким взором, завязанным ртом...

Отгremели ее соловьи,
облетели с ланит ее розы.
Ничего-то – о брeнной любви.
Жемчугами окатными – слезы.

А теперь вот пришла обмывать
ваши раны – боса, некрасива.
В волосах – грязно-серая прядь.
Под ногами – волчец и крапива.

Да и голос – глухой, с хрипотцой.
Еле вяжет шатучие строфы.
А на сердце – и холод, и зной,
всё безмолвие русской Голгофы.

10 февраля 1993

Останкино 3 октября 1993 года

Флоренцией казалась мне Москва –
коварной, воровской, средневековой.
В садах шуршала ржавая трава,
и мнился раной каждый лист кленовый.

Флоренцией казалась мне Москва –
бесстыжею ловушкой, западнею.
Цвели в эфире лживые слова,
поил эфир цикуттой, беленою.

А затемно, когда ударил залп
близ розового мертвого палаццо,
я онемела, как кандалный раб,
не смеющий ни мстить, ни разрыдаться.

Что выдумать, что делать мне – одной,
не ведающей яростной науки:
всего-то за душой и под рукой
лишь боль – да гармонические звуки!

Но поутру, когда упал солдат
последний наш, и вроде – взятки гладки,
под окнами прошел крылатый Дант
в пропахшей адским чадом плащ-палатке.

7 ноября 1993

Сороковины

Не в огненной клокочущей геенне,
не в пропастях бездонных и глухих,
не там, где стонут аспидные тени, –
их души водворяются во благих.

Снег забинтует раненую Пресню.
Смотри: кругом – белó, и ветер стих.
Больная совесть обмирает с песнью:
«Их души водворяются во благих!»

Так хор летит!.. И небеса отверсты
для слов любви, мольбы – для слёз одних!
И внемлют облака, и слышат звезды:
«Их души водворяются во благих!»

Их души – во благих?.. Без покаянья
принявших смерть?.. Что знаем мы о них?
Светлы в купели чистого страдания,
их души водворяются во благих.

И вся Москва – хладеющий Некрополь, –
как павший Рим, нетленна в этот миг.
Хрустальной кроной вторит звонкий тополь:
«Прими их, Правый Отче, во благих!»

И сизари летят за длинным гробом,
Благая весть трепещет в клювах их.
И веруем в томлении глубоком:
«Грешны – а водворяются во благих!»

Всю смерть поправ своею краткой смертью,
повергнув в гибель недругов лихих,
одну – под всей крутой небесной твердью –
узрят они Россию во благих.

И ты молись, дитя в промерзлой шубке,
и ты, старик, – за правнуков своих:
в крови, во гладе, веткой на порубке –
воспрянем, воссияем во благих!..

12 ноября 1993

В Небесной Стороне

Последний день они вблизи земли,
вблизи руины, подле черной гари...
Невидимые – в дождевой пыли,
неслышные в густой осенней хмари.

Им завтра быть в Небесной Стороне,
в родимой, непорухенной сторонке.
Метет ли там черемуха в окне?
Кричат ли поутр

у сизоворонки?..

Что видимо оттуда, издали?
Забытое?.. Лелеемое нами?..
О, как белеют русские кремли,
румянятся рябинники – кремлями!

О, как легко звонят колокола,
и тонкий луч ложится мягким шелком,
и всё, о чем твердим: «Какая мгла!..» –
там – свет: хоть счет ведем в стогу иголкам!

И людно там... Воздушная череда
вся, как один, юна, русоголова,
хоть вовсе не телесна красота –
чистейшая, чем линии Рублева...

Там разлита не боль уже, а мысль,
что невместима в поле дольней жизни.
В ней слезы всех живых отозвались
и все молитвы о земной Отчизне.

И видимо, что вовсе не конец
немерянному здешнему страданью:
что огненный нам выкован венец
и меч, что будет сжат кровавой дланью.

Что выкованы цепи и шипы,
настоян яд измены и обмана...
Но всё, что можно вызнать у судьбы, –
«Еще не час... Покуда – слишком рано».

Пока дано лишь первых провожать:
сраженных – в тесный стан небесной рати.
Пока лишь на меже – колосья жать
пришла Косая, первой жертвы ради...

И вы, кто одесную встанет Там,
близ Отчего, всевышнего Престола,
не хлеба – только сил просите нам,
назначенным для пущего помола.

Чтоб в черный день, в неизреченный год,
когда порвется всё, что было тонко,
нам чаялось: черемуха метет,
кричит в сыром саду сизоворонка!

А если наступает тишина,
то не для жалоб, ропота и стоны, –
златая чаша Родины полна
бездонного малинового звона!..

И вот уже – спускается не снег,
но ангельского
 искры
 оперенья,
чтоб всё, что было – кровь, что было – грех,
сподобилось любви и просветленья...

14 ноября 1993

* * *

И Все Святые, что в родной земле
за всё тысячелетье просияли,
у наших павших в головах стояли,
и луч желтел в необоримой мгле...

Оборете! – сулили голоса
с высот заупокойного молебна. –
И будет Русь опять жива и хлебна:
о том тоскуют сами небеса!

И я хранила на виду у всех
такое молодое выражение,
как будто мне поручено внушение
вам передать: уныние есть грех.

И я просила у сырой земли,
у зимних птиц, у тополя – подмоги,
вбирая в золотую мысль о Боге
всё, что вблизи и в облачной дали...

Катились слезы по щекам моим,
темнило горе лик моих сограждан.
Но с каждым павшим в листопаде страшном
был наш союз отныне нерушим.

И нету мощи, чтобы одолеть
ту крепь – коль встанут мертвые с живыми,
единого Отечества во имя
готовые вторично умереть.

17 декабря 1993

В Заволжье

На восковой табличке напишу,
резцом – на скалах, по сырой берёсте:
«Вы слышите: я больше не дышу.
Я здесь, на старом, брошенном погосте.

Такая земляника надо мной
взошла, качает гирькой алых ягод...
Хотя б дитя льняною головой
в кустах мелькнуло, поубавив тягот

глухого одиночества в веках,
что протекли с того лихого мига,
когда распалась связь и стали – прах
сыны Руси – от мала до велика...

Я плоть от плоти тех трехсот мирян,
себя спаливших в белобоком храме,
когда Сапега из латинских стран
привел шляхетство – царевать над нами.

Я плоть от плоти этих гиблых мест –
заугличских, залесских, светлоярских,
и потому один над нами крест:
над смердом, над костями детей боярских.

И потому Архангел Михаил,
святое чудо о воде творящий,
над нами снова церковь возводил,
над тремастами тех свечей горящих...

И потому струится белизна
и назвалось Архангельским селенье,
и только мнится, будто я – одна,
а в сердце – только боль и умиление.

До Страшного Суда я пролежу
и знаю: в травах, в шелесте березы
вы слышите, что я еще дышу!..
Так дышит огонь. Так властно дышат грозы».

8 декабря 1993

* * *

...А здесь Страстная тянется неделя
длинней седмицы – год и хоть бы век!..
Уже на печке выезжал Емеля
и вызнал космос русский человек.

И нет таких немислимых свершений,
которых не свершил бы он с лихвой.
А по пятам, что ангелы, две тени:
седое Горе с лютою Бедой!

И вот уж видно: вечным Римом Третьим
не сдюжила Московия пребыть!
Отныне – счет избыточным столетьям:
плывут... Куда? Зачем теперь им плыть?

Но если впрямь в начале было Слово,
то, подлинно, сиять ему в конце!..
Молчи – и жди пришествия Христова
в Садовом огнедышащем кольце.

В кольце Бульварном... Позднею обедней
не вспугнут черный морок октября,
и над страной восходит день последний –
едва ль не Гефсиманская заря...

1 ноября 1993

Приметы

А дальше что?.. Не спрашивай меня:
ведь я не мастерица на прогнозы.
Но вижу: цвета черного огня
лежат в снегу и умирают розы.

Но вижу: прилетевшая к окну,
как камень, тяжело падает синица,
и тихо, сквозь сырую белизну,
лимонным солнцем грудка золотится...

Не выдержала, что ли, злую весть,
поверенную – сколь же малой! – птахе:
что дальний брат мой, сберегая честь,
сложил главу на вуковарской плахе?..

Не выдержала, что ли, что жена,
красавица, от мўки поседела?..
Зачем, зачем у моего окна
трепещет это маленькое тело?

Зачем покинули Бахчисарай,
вплетясь в пургу, три сумрачные розы?
Постыл им, что ли, черноморский край,
милы ли подмосковные морозы?

Иль выслал их в опалу крымский хан,
вот этих доброхотных россиянок?
О, сколько их, из сопредельных стран,
стучится к нам, скиталиц и беглянков!

И сколько птиц метелящей зимы
несут нам весть, что на пороге – беды!..
Но дай-ка лучше сосчитаем мы
не горести, а мужества приметы!

16 декабря 1993

Нашествие

Нет, не терновый страшен мне венец,
не хлад, не глад, не смерть во рву зловонном.
А страшен мне тот жалостный конец,
когда гора Поклонная – с поклоном
ступает к Мухаммеду или в Рим,
на склон святой сажает синагогу...
Мы сами на семи холмах стоим,
не нам у Рима спрашивать дорогу!

Не страшен и крестов угрюмый лес:
от века это сердце непреклонно...
А страшно, коль – с копьем наперевес –
всё воинство Руси и рать небес
не зачерпнут шеломами из Дона...

15 декабря 1993

Масличная ветка

Маше М.

1

И снова – ветка Палестины,
как весть, что пуст Господень Гроб,
на эти снежные равнины,
где жжет нас огонь и бьет озноб,

слетела, тускло зеленея,
грустя, склоняясь надо мной.
И я, под взмахи снеговья,
пью тонкий, каменистый зной.

Переношусь к ночному Саду,
где та, горчайшая из чаш,
дарила скорбную усладу,
где воздух шепчет: «Отче наш...»

Где все полно благоговенья
перед несбыточной мольбой...
Ловлю славянский голос пенья
в масличной рощице седой.

Брожу вдоль узких древних улиц,
в каких теснился Крестный путь.
Вот две ермолки оглянулись,
мулла главу склонил на грудь...

Мне не до счетов, не до спора.
Не то что знаю благодать,
но вижу дальний свет Фавора –
горы, где так легко дышать.

Осенена листом масличным,
вдыхая быструю росу,

гляжусь я облачком безличным,
хоть малый огонь в себе несу.

Ведь в час, какой мы знать не смеем,
чтоб не отдать меня земле,
успенский батюшка елеем
мне крест начертит на челе.

А после венчик увенчает
меня – полосочкой на лбу,
понеже *ныне отпускает*
Господь усталую рабу...

Но прежде – Иерусалимом
иду сквозь колокольный звон.
Куруется пылью, словно дымом,
закатный путь на Елеон.

На дно Кедронского оврага
спущусь в канун тех похорон:
искрится высохшая влага,
как сок из виноградных грон.

И прежде – каменные соты
сурового монастыря
увидю – в блеске позолоты,
на зорьке, в струях янтаря.

Увижу полную корзину
у кельи, третий век пустой.
Ни схимник не сошел в низину,
ни мы, страшась пред высотой,

к нему не ступим. Лишь Георгий
хранит меж небом и землей
простой кувшин воды прогорклой
и хлеб – как камень, но святой.

Урок смиренного терпенья...
И я шепчу: «Благослови...»
Ведь эти соты – только звенья,
ступени вечного служенья
весь мир объемлющей Любви...

2

Масличный лист, какую силу
ты в легком крылышке таишь,
открыв во мне седьмую жилу,
слетев в больную гладь да тишь!

Вещуешь: терном увенчает
судьба, и стражи прокричат...
А сердце падает, и чаёт,
и Сыну Светлому рыдает:
«Сойди сюда! Сюда, во ад...

Сюда! В метельные долины,
в тлетворный смрад, могильный сон...»
Но плачет ветка Палестины,
ложась средь траурных пелен.

И обагрется, седая,
той кровью, что еще пролить
дано тебе, земля родная,
пред тем, как Слово воплотить.

19 февраля 1994

* * *

Здесь столько лир повешено на ветки...

А. Ахматова

И высятся леса чертополоха
на месте белых вишенных садов.
Шакалей сыти хищная эпоха,
кровавых вранов, желтоглазых сов.

Все кошки – серы, и навек безлунны
здесь ночи. А когда выходишь в сад,
как провода оборванные – струны
беззвучные, безвольные висят.

И что ни лира – полая скворешня,
пугает мертвым стуком на ветру.
Бездушна, так что, в сущности, безгрешна,
не кличу я кастальскую Сестру.

Ведь та Вдова, что называлась Музой,
сулит не ад, не соловьиный рай,
но приживалкой жалкою, обузой
глядится. Прочь, постылая, ступай!..

Ведь никогда божественное слово
не пребывало менее в чести:
ни даже в день распятия Христова,
ни даже там – в Иудиной горсти.

28 ноября 1993

К 9 Мая 1994 года

Какой придешь ты к этой годовщине,
Отчизна, разоренная дотла?
Седые Парки сядут при лучине
прясть нить судьбы? Цыганская игла

прошьет лоскутья той истлевшей славы,
что полыхала заревом знамен?..
Ни очага. Ни хлеба. Ни державы.
Всё взято. Сдуто. Угнано в полон.

И слышно: по ночам приходят волки
баюкать воем

брошенных детей.
Иссякли слезы. Даже стоны смолкли.
И что ни день, то прежнего лютей.

Но, как на поле опустелом колос
один, забыт, — не скошенный никем
в руинах певчий золотится голос:
«Кому печаль, печаль мою повем?..»

27 ноября 1993

* * *

Всё так: в густой реке алеют воды,
и воронье — что гарь — над головой...
А дух любви, а вещий дух свободы
твердит:

«Нет, черный ворон,
я — не твой!»

10 декабря 1993

* * *

И принесли мне темных пять гвоздик –
в знак траура, торжественной печали.
И весь декабрь они огнем пылали,
качаясь над угрюмой стопкой книг.

И не была я более одна
ни днем метельным, ни безлунной ночью
и раз почти что видела воочью:
пять скорбных душ таила тишина.

И я томилась: кто ж ко мне пришел,
в живой молитве не был мной помянут?..
И я страшилась: вдруг они увянут,
а я – не вспомню...

Хвойный запах смол

мешался с тонкой пряностью:

Восток

дышал тут... Синий сумрак новогодья
мысль одевал какой-то тяжелой плотью,
но дух бессмертья источал цветок...

14 декабря 1993

Покидающим Родину

И потянулись за́ море они –
за теплым кровом или сладким хлебом,
и бортовые лайнеров огни
едва видны под непроглядным небом.

Я не сужу. Что проку – сторожить
бурьяном полоненную руину?
Я не грущу. И здесь-то не прожить:
куда уж – сердцем обживать чужбину!

Я не гляжу в их мудрые глаза,
не слушаю их праведные речи.
Я вынесу – горящие леса,
сам небосвод, обрушенный на плечи!..

Я пожалею их в последний миг,
когда поверят: минула расплата.
Но даже на тебя, мой нищий стих,
придется им коситься воровато.

21 декабря 1993

Сквозь слёзы

Город пышный...

Пушкин

В унынье или в светлой грусти
в охоте к перемене мест
затем и любишь захоlustье,
что три столицы в мире есть.

Вон та – где Киевская Лавра,
вот эта – на семи холмах,
и та, где взмыл в венке из лавра
кумир на финских берегах.

Но нынче закопчёны своды
небес, пещер, палат, дворцов.
И лихоманкою свободы
в гробах колотит мертвецов.

На площадь выброшены кости
людей ли, псов ли, лошадей...
Как на разграбленном погосте,
спим в Белокаменной своей.

Давно пошли с аукциона
держава, скипетр и скафандр...
И смотрит горько, удивленно,
в седой крылатке Александр,

Сергеев сын, боярин Пушкин,
тот духа русского Атлант...
Видать, не дали ни полушки?
Иль дрогнул сердцем маркитант?

Напрасно! Умыкнул бы в степи
иль за море, цenia металл,
а нам оставив разве цепи,
что окружают пьедестал...

Ведь говорят: на Лобном месте –
и то растет уже трава,
главу положишь честь по чести –
в бурьяне тонет голова!

Не захоlustье – запустенье:
рекламный щит, глухой забор...
Не веют майские сирени,
и не сияет детский взор,

завидев, что идет приезжий,
нездешний, питерский, не свой...
Кого тут – испугает леший
иль приголубит домовой?

Не захоlustье, не столица –
так где ж теперь повисли мы?
А тройка мчится, мчится, мчится,
клубятся снежные дымы!

И как там Киев? Как там Питер?
Небось, летят в тартарары?
(Ужель – старухе слезы вытер?..
Святые уберег дары?..)

И всё-то чудится: случайный
былой уездный городок
еще наполнен русской тайной,
еще хранит свечи венчальной –
на брак и царствие – дымок...

А наше здешнее величье
в такую небыль отошло...
В толпе – такое безразличье,
так в душах властвует число,

что смотрим мертвыми глазами,
расчетом разум веселя,

как башню Спасскую с часами
влекут по трапу корабля...

Мое лицо белее снега.
Всего ж страшней – идя Москвой,
в потемках встретить человека
на Главной Улице пустой.

12 февраля 1994

Всю смерть поправ!..

Как лакома ты, Родина моя,
врагу – и как ему ты ненавистна...
А я шепчу: красавица! Отчизна!
Что без тебя могла бы значить я?

Что без тебя и слава, и любовь,
сама душа – как храмина пустая?..
И я шепчу себе: не прекословь, –
как святцы, дни скорбей твоих листая.

Твоих соблазнов лютая тщета...
Твой путь окольный до приветной близи...
По чину нам – архангельские выси.
По чину высям лестница крута.

Там, у латинян, глянь, вознесены
на кровли храмов адские химеры...
А мы, бродяги православной веры,
лежим во прахе, ежели грешны.

И смирный нрав народа моего –
не пред тобою, власть меча и злата.
Не радуйтесь: мол, русская расплата...
Всемирное в ней тлеет торжество.

Вот так, бывает, зябкое зерно
скорбит в грязи... Поют ему метели.
А поглядишь в конце Святой недели –
всё поле осторожно зеленó!

И жаворонок солнечный висит.
А к Троице уже и колосится
та гиблая, обильная пшеница.
И в Духов день горит – не догорит

закат...

И вновь шиповник на меже
нектаром полнит розовые чаши.
Всю смерть поправ!.. – в ответ на песни ваши
твержу о прахе, чести, мятеже...

11 февраля 1994

Письмо

Как живу? Да обычно живу...
Пусть в хуле – да не в пагубной лести!
Подарила мне бабка канву –
вышиваю за крестиком крестик.

И обычна моя маета.
В медной ступе толку свое горе.
Видишь: бродит усмешка у рта.
Видишь: слезы сушу на заборе.

И, совсем как у прочих людей,
то – не клеится, рушится – это...
Как живу? Да без всяких затей!
Сам подумай: что взять-то с поэта!

Я бы рада тебе рассказать
о каком-нибудь миге чудесном,
о лучах, что зовут: благодать, –
о Голгофе иль сердце железном.

Но совсем заурядная хворь
посещает меня Христа ради.
То качает до утренних зорь,
то спешить понукает – к тетради.

И совсем не считаю бедой
одинокчество или безвестье.
Вон могилы бегут чередой
с безымянной звездой из жести.

Я видала их столько в пути
до Можайска, до Бреста, до Пскова,
что вздымается гордость в груди
от, увы, многолюдья такого.

И встречала я пущих старух:
покосились изба да ворота,
слух померк, да и взор уж потух,
а растят в огороде чего-то...

И едва ль прилетит письмецо
к их окошку: в глуши, как в пустыне...
Как распухли суставы! Кольцо
уж не снять... Пусть блестит в домовине.

Так что, право, не каторжный труд,
не подобие пытошной муки –
мой удел... А ведь люди – живут! –
вспоминаю, коль вздрогну в испуге...

Так что вовсе еще – не молва,
не сказание и не легенда,
как вплетается в эти слова,
столь простые, багряная лента...

11 февраля 1994

* * *

...А завтра будет день, подобный чаше,
где слезы с кровью льются через край.
О дети наши! Где вы, дети наши?
А те – в ответ: «У ворона узнай!»

Зачем же мне дано услышать это
и видеть: поле белыми костями
усеяно?.. Декабрь... Убыток света...
Размывы алых маков средь зимы...

Но дух любви не отпускает душу
ни к райским кущам, ни в могучий ад.
«Я скорбь земли дыханьем не нарушу!» –
так, верно, страстотерпцы говорят.

Так я скажу, когда сподоблюсь в землю
родную лечь, – неведомо, когда...
Затем, что каждый вздох ее приемлю.
Из рая, плача, прилечу сюда.

8 декабря 1993

Русские поэты

Взяла я лучшие слова
у вас, мои поэты.
Они доступны – как трава.
Как верстовые меты,

они встают на всем пути,
что за моей спиной.
Они вещуют: впереди –
что было былью злою.

Им скоро минет столько лет,
что в нашем обиходе
твердим не: «Как сказал поэт...» –
«Как говорят в народе...»

Они давно ушли из книг,
вернулись восвояси,
в подземный, пристальный родник –
и пьешь при смертном часе...

14 февраля 1994

Ожидание чуда

А. Проханову

«Умом Россию не понять...»
Такие вынести потери
и вновь предаться древней вере –
цыплят по осени считать...

Ворчать, что горе – не беда,
да о стволах и – лесе...
Уже отпали города,
моря, станицы, веси.

Уже повымерло людей –
как *в тую голодуху*...
И сколь ни выбрано властей –
проруха на старуху!

И, сколь ни щедрый был Щедрин,
наврав про город Глупов,
за год один, за день один
у нас поболе трупов!

Кто с колокольни, кто с крыльца,
кто из окошка свержен.
Вон на какого молодца –
и то ОМОН рассержен!

И ничего-то не постичь,
кто нынче виноватей...
Молчит лефортовый кирпич,
и глух бушлат на вате.

Стоит такая тишина –
матросская полоска...
Идет подпольная война,
а сыплется известка.

И карта ветхая страны
скупой овчинки уже.
Где реки синие – видны
червонной краски лужи...

И впору б камни собирать,
не камни – пыль пустую...
Доколе можно запрягать,
хваля езду лихую?..

А вот же медлим, господа
своей судьбины тайной.
Крушатся с рельсов поезда,
горят леса – случайно!..

А уж какой на промыслах
чадит пожар оплошный!..
Но боль – не в боль, и страх – не в страх
тебе, народ острожный!

Но вдруг случится и такой
неодолимый случай:
Господь пождет, взмахнет рукой –
склудимся гневной тучей!

И, разом на ногу легки, –
сполошная година! –
дойдут мятежные «совки»
до нужного Берлина.

И вспять откатится Восток,
и расточится Запад...
Блестит березовый листок:
какой отрадный запах!

А там и папоротник твой
зацвел купальским цветом!..
Так было древнею весной.
Так будет скорым летом.

17 февраля 1994

У Сергия

Почти не плачем и с судьбой не спорим:
авось сама отступит подобру?..

А колокольня так же пахнет морем
на вербном, зеленеющем ветру.

А из фонтана чистая, святая
всё так же звонко падает вода.
Вот детский локон. Вот и прядь седая
под вдовьим платом. Нищих череда.

Вот юноша с бутылкой из-под «Колы»
стоит за льдистым, ломотным питьем.
Вон два монашка – верно, новоселы
обители: сутулятся вдвоем...

Вот этот люд, что был моим великим
народом. Как он скромн, молчалив.
Взор подымает к закопченным ликам.
Взор потупляет. Внемлет: перелив

колоколов

струится дробной нитью
от поднебесья до сырой земли...
И внемлет Сергей. Внемлет челобитью,
как я, лежащих в гное и в пыли.

О чем мы просим? О продленье жизни?
О здравье? Хлебе? Полосе удач?..
Но он-то слышит тихий, об Отчизне,
сокрытый в сердце бессловесный плач.

Но он-то видит тающую свечку
в том частоколе золотых огней...
Души заблудшей черную овечку
встречает средь светающих полей.

Но он-то знает: год, еще полгода –
так древние пророчества рекут –
и через Лавру ручейки народа,
как встарь, на Поле Чести потекут.

И он, воздев Державную Икону
над морем русских жертвенных голов,
благословит, чтоб сердцу – непреклонну
пребыть пред лютым натиском врагов.

А в небесах горит Господне око.
То Ярый Спас, то яроокий Спас.
Возьми воды, серебряной, глубокой,
для той страды, той смерти – про запас...

25 апреля 1994

Актеры

Они тебе, читатель, лгут,
тасуя факты, даты...
Патриотический дебют –
примерно так они зовут
тот бой, что смертники ведут –
безвестные солдаты.

А здесь – парад и бенефис,
седые юбилеи,
и крики: «Фора!», всхлипы: «Бис!»,
и Глории аллеи.

Тут есть дородный ветеран
и инвалид движенья:
один – цветком расцвел от ран,
от благорастворенья

медовых, сдобных воздушных,
что в грудь ему вдувают;
другой... Другой – всегда готов,
когда отбой играют.

Тут есть присяжный генерал –
глядит, как птица гоголь.
Он Шипку брал, он гордо пал
за царский Севастополь.

Его Суворов звал с собой
в тот переход чрез Альпы...
Он слышал бубны за горой
и фейерверков залпы.

Тут есть румяный кавалер
Святого Станислава,
певец вождей и полумер, –
молчалинского нрава.

Он – спец по щам, а всё следит
заморскую харизму.
Сакрально лжет, сакрально льстит,
считая свадьбой тризну.

Тут есть блистательный Никто
(Мальбрук в поход собрался...)
И тот, кто в цирке шапито
с трапеции сорвался.

Тут есть ученейший всевед,
ревнитель нацвопросов.
Он вечно сер, хотя и сед, –
мастит и стоеросов.

Тут есть поэт, тут есть тапёр
и стряпчий – чин по чину.
Тут есть заржавленный топор,
чтобы колоть лучину.

Тут есть обширные умы –
отцы Руси удельной.
*(Не зарекайся от сумы
и головы похмельной.)*

Тут есть слагатель эпопей –
турусов на колесах.
Тут есть прославленный жокей
и поставщик навоза.

Тут есть сноровистый денщик
о десяти подковах.
И весовщик, и кладовщик,
и страж венков лавровых.

Тут есть министр, горнист тут есть,
мастак трубить победу.

А, впрочем, всех не перечесть,
кого, быть может... нету.

Уж «на обломках самовла...»
они себя чеканят.
Сгорела Родина дотла.
Когда ж им гром-то грянет?

И что им в славе-то своей,
когда лежим в бесславье?..

Нет, право, много веселей
среди поредевших батарей,
где лишь вину зовут своей,
где правит равноправье!

Там всё болота да туман,
там вынут меч из ножен.
Там нет литавр, наградных ран,
боец – одной хулою пьян,
патриотический обман
там просто невозможен.

17 февраля 1994

К 9 Мая 1995 года

Нет, то случится вовсе не со мной,
не на моей закатной, долгой жизни:
я не пригублю на глумливой тризне
воды – уже не мертвой, не живой,

той, что хребет народа не срастит,
не оживит его бессильной плоти...
Я этот день отдам моей работе:
в ней кровь и пот по-старому блестит.

Я не пойду к поруганной горе –
Поклонной, нет – коленопреклоненной,
всемирною армадою плененной
в дни, коих нет черней в календаре.

Парад Позора! Не моим глазам
глядеть, не моему склоняться слуху,
внимая, как Великую Разруху
кимвалы славят и пирует срам.

Я прокляну тебя, тевтонский меч,
замоскворецким языком просвирен.
Мой скорбный дух не сломлен и не смирен,
пусть даже голова скатилась с плеч.

Лежит в бурьяне, смотрит в небеса
и, улыбаясь, видит: красноезвездны,
текут полки – задумчивы и грозны...
Леса штыков, бескрайние леса!

Чеканит шаг в сквозной голубизне
морская, в гордом трауре, пехота.
И к Порт-Артуру флагманы Балтфлота
идут – зане́ вся Родина в огне.

Все воды, все поля, все рубежи...
И было так почти четыре лета.
Но в августе опять шептать: «Победа!» –
сплестать венок из васильков и ржи.

И бредить этим розовым Кремлем,
над коим «Славься!..» взмост спозаранку,
пока мой дед охриплую тальянку
приладит петь и плакать за селом.

Пока на луг в лазоревых цветах
бегут сиротством вспоенные дети...
Пчелой, сиренью влажной на рассвете
булыжник Красной площади пропах.

И снова лучшей музыкой звучит
«тридцатьчетверок» гусеничный рокот...
Но это – там, горè, орлиный клекот
и шелк знамен, тяжелый шелк гремит!

Под тяжестью крылатою «катюш»
уже прогнулась чаша небосвода...
О Боже, сколько ж русского народа,
славянских душ, преосененных душ!

Не успевали ангелы летать,
перенося их, горьких, с поля брани
на небо, позлащенное заране,
чтоб Землю Свято-Русскую принять.

5 апреля 1995

На семи холмах

А мы живем теперь чужие жизни.
В чужую жизнь вплетаем жизнь свою –
ненужную, как память об Отчизне
в чужом, немилом, сумрачном краю.

И пролегло такое расстоянье
от этих дней до тех былых времен,
как будто мы, и подлинно, в изгнание
иль видим сон: крошечный видим сон...

Не наяву же – древняя столица
колгочет на нерусском языке?
Не наяву же – сколько дней уж мнится,
что кровь течет в седой Москва-реке?

И это утро – как стрелецкой казни
рассвет... Но где ж он, яростен и бодр,
в надежде славы зримый без боязни
тот всадник, тот Геракл, державный Пётр?

И в чем же смысл безмолвного страданья,
и в чем же прок смиреннейшей мольбы,
когда не флот встает под тяжелой дланью –
плывут сухой флотилией гробы?

Когда в бурьяне продирает очи
Царь-Голод, Царь-Погибель, Царь-Разбой?..
В бесснежной мгле густой декабрьской ночи
нам снится бой... Полтавский дальний бой!

Нам грезится: в окопах Сталинграда
стоим мы на смерть... Лютая пурга
и шквал огня... А сердце... Сердце – радо
уйти в бессмертье, сокрушив врага!

А сердце радо – ни крупички лишней
не взять, позарясь, с Божьего стола...
Заройте под березою, под вишней,
под вязом жизнь, что нашу была!

Под этою руиной, что Отчизной
зовется, что на небо вознеслась
в тот час, как пращур за широкой тризной
сидел, за нас, сирот своих, молясь.

И, может быть, задумчивый потомок,
придя на семь поруганных холмов,
о нас помыслит: из таких потемок –
а песнь?.. И вроде – из славянских слов

составлена, содеяна... Сокрыта,
самой сырой землею сбережена.
Так значит, эта раса не убита
и даром что нещадно казнена?

6 декабря 1993

Прощание

И, выплеснув молочные чернила,
приблизясь к Стиксу – пасмурной реке,
гречанка, Муза вдруг заговорила
на русском, баснословном языке.

То, прогоняя злые чары ада,
презрев чужих тысячелетний свет,
с Россиєю прощается Эллада,
и слёзы льет умолкший Кифаред.

7 декабря 1993

Сеятель

В. П. Заманскому

«Необратимо!» – говорят друзья.
«Невозвратимо!» – мне вещует сердце.
На что ж теперь еще надеюсь я,
когда весной молюсь о земледельце?

Ужель он Бог – чтобы возделать гарь,
насытить выпашь, скрасить пепелище,
покликать солнце и развеять хмарь,
когда мы все – как Иов на гноище?

И где возьмет он первое зерно,
которому стократ воздал бы колос,
когда уж всё – до пыли – сметено,
до нитки, тонкой, как ребячий волос?

Когда в краю разлук, смертей, измен,
где даже зверю выть – невыносимо,
поля и реки словно сами в плен
бегут – людей и старых русел мимо?

Когда вся нечисть вышла из прудов,
из омутов – и клюквенным болотом
валит, висит на струнах проводов
и алый Кремль зовет своим оплотом?..

«Невозвратимо!» – говорит мне ум.
«Невосполнимо!» – мне стрекочут сводки.
Как вдруг среди темных, полунощных дум
одна встает: а ум-то твой – короткий!..

Она смеется над моей бедой,
язвит меня: мол, Иов не роптал же!..
И чую: пахнет талою водой,
землей глубокой, бороненой даже.

Она дурманит, точно палый лист,
и веет прелью, плесенью, грибами.
Но вздох – глубокий, но воздух – золотист,
и клочок отавы блещет жемчугами.

И тонкий поднимается парок,
и странный звон: то что-то вроде пташки
ввинтилось ввысь... А на кресте дорог
толпятся дети, сушатся букашки.

То сам Господь, как сеятель, идет.
Из недр золы, щебенки, перегноя
лучистым взором семя достает –
незримое, родимое, ржаное...

17 февраля 1994

* * *

Когда рекут орудья, музы спят
иль, гневные, от ужаса немеют.
И древние папирусы горят,
и свитки летописные чернеют.

И даже стих, что молвлен на века –
гекзаметр богоравного Гомера, –
тоскует: сколь мертва его строка
для всех забывших, что такое мера!

Для всех забывших, что такое – струн,
как властного приборя, рокотанье...
Ни гордый Марс, ни яростный Перун
не вызовут певца на состязанье.

Так что ж случилось в этот страшный год:
гремят орудья и лютует злоба,
а музы – тайно водят хоровод,
и лучшая – о родине поет,
мятежная, восставшая из гроба...

20 декабря 1993

* * *

Г. К.

Просохнет кровь. Отступят злые беды.
Как лес, взлетят фанфары, золотясь.
По Лучшей Площади пройдет Парад Победы
как в прежний раз. Как в незабвенный раз.

То будет день пасхальный, Красной Горки
иль Троицы... Поутру... По весне...
Как маршал Жуков, сам Святой Георгий
проскачет на танцующем коне.

И у Кремля заплещутся сирени,
смывая прах поверженных знамен.
А мы, – не плачь, – мы будем только тени,
из Смутных залетевшие времен...

23 ноября 1994

Победа

1

Так вот он, темный смысл обетованья!
И, званые, гладим из-под руки,
как розовое облачко страданья
уходит вниз, на дно Москва-реки...

И, точно бы архангельские трубы,
звучит оркестр – огромный, окружной.
И внемлет даль, и шепчут чьи-то губы
«На сопках...» ли, *Дунай ли голубой...*

Но вещий плач – «Прощание славянки»
с собой мы взяли в вечность, про запас...

Смотри, как плавно выступают танки –
и буря роз над их броней взвилась!

2

Земных побед – как дыма – привкус горький,
срам поражений, мóроки измен
смахнет плащом сверкающим Георгий,
прогонит прочь от этих красных стен.

И потекут столетья жизни новой –
в лучах неугасающего дня...
Но свеж тот след, впечатанный подковой
танцующего белого коня.

26 ноября 1993

ИЗ КНИГИ

«Русские границы»

*(избранные стихи
90-х годов*

)

От автора

<...> Стихи 90-х годов у людей моего поколения – во многом уже итоги духа. Биография, география уже почти вся позади: с нежным Михайловским, пушкинской деревенькой, навеки вошедшей в мою жизнь, с размеренным, хоть и вполне увлеченным, трудом... Гул Истории, или же, как я его назвала, «все безмолвие русской Голгофы», стал тем фоном стихов, что затмевает и заглушает частности личных мытарств и страданий, размывает все быстротекущее – может, и саму плоть живописной в ее подробностях жизни. Улетучивается ее аромат – в пользу грозной музыки, какую вбирает обнаженное поэтическое слово.

Стремительно, на глазах, сужаются русские границы. Зато открывается тайна исторического времени. «А стих о том лишь и расскажет, что было завтра и вчера» – эта формула не кажется парадоксом для летописца Смутной поры, если его летопись причастна к жанру поэзии.

Мы

Витают имя: «новый русский».
О чем оно? Кому – оно?
Мы – не новее, чем этруски,
чем в древних амфорах вино.

То ль нет его? То ль дно глубóко?
То ль так прозрачен виноград?..
Но дремлет на устах у Бога
его далекий аромат.

Его ничем не перебить вам,
его вовеки не забыть...
Посту предайся и молитвам,
чтоб русским в вечности пребыть.

Не «новым», свежеукрощенным,
цивилизованным вдвойне,
а тем единственным – рожденным
в небесном, величавом сне.

А тем, кто через искушенья
идя, чрез кровь, и пот, и глад,
приемлет вечный огонь сраженья,
как воин Федор Стратилат.

А тем, кто русскою иконой
властительно запечатлен –
с копьём, с поверженным драконом:
суров, но сердцем умилен.

А тем, кто навсегда – загадка,
как тот утраченный язык –
и мрачен строй миропорядка,
к своей утрате не привык...

Но сколько ни проси у Бога
вернуть тот дух, хотя бы – дым,
Творец и сам вздохнет глубоко:
неповторим!.. Неповторим!..

7 марта 1994

* * *

Сергею Козлову

Зеленой Троицы благословенный день.
А в розовом Царицыне сирень
бела. И храм белеет... Понемногу
и я к нему найду свою дорогу.
К иконе Богоматери, молящей
за всех скорбящих и за всех болящих,
недужных телом, пасмурных душою,
как мы, мой старый друг, как мы с тобою.

Звон отзвонил. И служба отошла.
Но двери храма все еще открыты.
Березами плакучими повиты
алтарь и своды, вход и купола.
Пруд вечереет. Голубая мгла
прохладна. Но последнего поклона
никак не положу... Как веретёна,
снут, чернея, ласточки в окне.
И думаю: насколько же благосклонна
судьба моя, несчастная, ко мне:
едва жива, а — добрела до храма,
и то, что мы зовем сырая яма,
не так темно, не слишком щерит пасть,
затем что всей мне, может, не пропасть.
И я прошу: ткись, ласточкина пряжа
июньских дней; грузись, моя поклажа, —
авось и справлюсь с долею моей,
отведав чистой горечи скорбей...

Еще березы Троицы свежи,
светлы, как вечер жизни не по лжи.

Август 1992

Наваждение

I

Человек с лицом комедианта,
с умными глазами изувера
говорил мне, будто слава Данта –
слава крестоносца-тамплиера.

Возводил к ветхозаветной Руфи
юную латинянку Беату,
намекал он, что Великий Суфий
флорентийца вел тогда по аду...

Как факир оглаживая карты,
пряча в ухе пухлую колоду,
то грустил об идоле Астарты,
то хвалил хасидскую субботу.

Роясь в почве инославных родин,
для хулы на Истинного Бога,
то взывал: «О меченосный Один!»,
то бубнил про дряхлого Сварога.

Насмехался: мол, у двери гроба,
обольщаясь пирровой победой,
спор ведет закатная Европа;
утопает Лебедь вместе с Ледой...

Он братался с яростным хорватом,
вырезавшим пёсью печень серба.
Пахло гарью, серой, газаватом...
А в России – зацветала верба.

Бородатый и яйцеголовый.
в изумрудном отблеске экрана,
он манил разогнутой подковой,
сладкозвучной сурью Корана.

Повторял: «Флоренция – Иуда!» –
мысля Блока, русского поэта,
тайно погоняющим верблюда
на тропу Пророка Магомета.

Расстилал он коврик для намаза
пред каким-то, с профилем жидовским,
прозелитом – пасынком Ширази,
выходцем тулузским иль кордовским.

Намотав чалму из кашемира,
клялся на огне черно-зеленом,
что явился к нам Спаситель Мира
и зовут его теперь *Геноном*.

Что родная русская равнина,
сам Великий Новгород и Киев
просыпались с криком муэдзина
с кровли мусульманской Ай-Софии...

Он твердил, обритый и мордатый,
с хваткой янычара-изувера:
будто не был Господом – распятый,
будто Благовещенье – химера.

Похвалялся: от Второго Рима
вечен только минарет мечети.
Наслаждался, чужая запах дыма
от холмов, где возвышался Третий...

Что́ ему царьградская святыня?
Первой Лавры солнечные главы?
Русь ему – лишь мертвая пустыня.
Мертвые ж, видать, не имеют славы?

Грезил он: окованы железом,
в сонные днепровские излуки,
овладев беспечным Херсонесом,
снова входят хищные фелуки...

II

Я рядила: благо, дело к ночи –
может, только бражники лихие
слышат, как лукавый нас морочит,
ударяя в бубны колдовские?

Я мечтала: это просто нежить,
джинн, пузырь земли в личине тролля,
мрачный дэв, а вот рассвет забрезжит
сгинет в норах Мекки иль Тироля!..

Но, покуда спали человеки
иль над Божьим Именем смеялись, –
неприметно вспучивались реки,
камни в темный воздух подымались.

Занимались на торфах пожары,
птицы молча покидали гнезда,
затмевались ясные Стожары –
ласковые северные звезды.

Ополчалось море против суши,
сушь – сушила ключевые воды,
в пагубу тишком входили души –
пагубу насильственной свободы.

Сын глумился над отцовым прахом,
дочь гнушалась матерью живою.
Разум одурманивали страхом
голод и дыханье моровое.

Поезда – как огненные звери, –
что ни путь, то под откос сверзались,
чудь вставала против тихой мери,
и друг в дружку корабли врезались.

Палый лист вздымался душной тучей
над больною, нищею Москвою,

сыч пугал кончиной неминучей,
гриф венчался с матушкой-совою.

Кайзеры слетались и султаны,
правоверный пекся о поганом,
чтоб вспороть поверженные страны
не мечом, так острым ятаганом.

Жар коробил вещие страницы,
клювы буквиц набухали кровью...
Я ж пытала у ночной столицы:
поведешь ли соболиной бровью?

Кликнешь ли засадную дружину,
полк Боброка, спрятанный в дубраве?
Разогнешь ли согнутую спину?
Рукавом махнешь ли конной лаве?

Вознесешь ли чадам в оборону
Тихвинской, Владимирской, Казанской
Пресвятой Заступницы икону –
супротив присухи басурманской?..

Ничего она не отвечала,
как рабыня под татарской плетью.
По всему видать: текло начало,
шло лишь третье лето лихолетью.

И, покуда боль мою поправший
евнух из Грядущего Турана,
тучного барашка обглодавший,
блеял и куражился с экрана,

заносило нивы наши пеплом,
желтые пески их засыпáли,
и на Поле Славы, поле светлом,
враны очи воинов клевали...

31 января, 3 февраля 1994

Русские границы

Куда отдвинем строй твердынь?

Пушкин

I

Вы ищете уютной, скромной славы:
мол, надобна ль земля про запас?..
Но Пушкин – нет, он не приветит вас:
он нё жил так – на лоскуте державы!

Он не жил в той рисованной Руси,
что мнится вам доподлинно-исконной,
что ворогу, трясясь, грозит иконой,
а море зрит в садке, где караси...

Он слушал орудийную пальбу
близ Карса и бунтующей Варшавы
и проникал, что Цареграда главы
могли б венчать российскую судьбу...

Не льстец иль русской мысли нувориш,
он отпустил долги и прегрешенья
гонителю, из мрака заточенья
вскричав: «Ура, наш царь!.. Он взял Париж...»

Юнец, он покидал уже лицей
с такой глубокой, солнценосной думой,
которую не вынесет угрюмый
мудрец ваш, сердобольный лицедей.

А уходя в бессмертие свое,
изведав спор славян между собою,
он видел их семьею молодою,
над коей алчно кружит воронье...

Оглядывая даль, и близь, и высь,
взор простирая до стены Китая,

не мыслил он, чтоб Азия седая
на плечи русским прыгнула, как рысь.

II

Он не зырянин, финн или лопарь,
он гордый сын раздольного славянства.
Величье духа требует пространства,
так повелел не Петр – Небесный Царь!

И надобны кавказские хребты,
охотские, арктические воды,
чтоб вызрел многоликий дух свободы,
восстав из колыбельной тесноты.

И надобен чухонский топкий берег
и высохший фонтан Бахчисарая,
чтоб эта Муза, смуглая, босая,
столетьями, широтами играя,
дичась, от любопытства ли сгорая,
ступила на псковской, уездный снег...

Нам пишется на краешке стола?
Нам хватит дести жеваной бумаги?
Всё так! – доколе реют наши флаги,
мелькают веси, грады, буераки,
три океана дыбятся во мраке
и рекам, звездам, верстам – несть числа!

III

...И надобна великая страда,
которая не ждет себе огласки, –
чтоб с печки потекли родные сказки:
полным-полна тугая калита!

И надобны крестьянские труды,
тьмы крепостных демидовских рабочих,

чтоб выковать «Египетские ночи»
иль это – «гений чистой красоты»...

И время, наконец, уразуметь
растящим вместо леса палисадник:
чтоб проскакал над хмарью Медный Всадник,
гром-камень нужен, золото и медь!

Чтоб Севастополь славою повить,
то надобно всецелую Тавриду,
Гирееву – да по грехам! – обиду
к ногам России смиренно положить.

Что не Поэт толкует *о правах*,
которые, как манна для евреев,
валятся с неба, посох Моисеев
по тайной карте находя в песках.

Что не Поэт – наперсник хитрецу,
ловцу *Руси наедине с собою*,
когда страна сдает себя без боя,
не смея встать с врагом лицом к лицу.

Что нестерпим Поэту краснобай,
полубезбожник, полулютеранин,
чей голос, говорильнями огранен,
сулит нам теплый, в табакерке, рай...

Потребен днесь и воин, и монах,
ущербной воле бич и врачеватель,
чтоб миром заклеить тебя, предатель –
духовный вождь России-На-Бобах!

Февраль 1994

Черноплодная рябина. Осень 1991 года

Памяти Бориса Примерова

Живем... И вот дожили до седин
в тоске по юности первоначальной.
Позволь же грозди черные рябин
мне положить на этот гроб печальный.

Что́ горше осени? Ну разве ты, весна.
Тревожен твой черемуховый холод.
Ждет соловья ночная тишина.
Стучит в висках семипудовый молот.

О чем?... И пусть косноязычна речь –
парит в ней гений нежности к отчизне...
Что сберегу? Что я смогла сберечь
от той, почти предсмертной нашей жизни?

Как шли в Вертушино сырым холмом –
один другого тише и болезней –
за козым деревенским молоком:
оно стихов и гуще, и полезней.

Как шли... Сначала – берегом пруда,
болотцем, по затопленной лесине...
В те дни уже балтийская вода
не омывала берегов России.

Как шли... Какой-то жалкий арьергард...
Над ивняком, клубящимся в овраге...
«А ты представь, что я – кавалергард!
Что я, как Пушкин, в ласточкином фраке».

«А ты представь, – в ответ шутила я, –
что я лишь так себе и представляю...»
Друзья мои, друзья мои, друзья, –
кричал мой дух, – я тоже умираю!

Под тем курганом: насыпь до небес...
Под осыпью Советского Союза...
Уже неравным браком мелкий бес
с тобой венчался, солнечная Муза.

Уже слова не слушались. Уже
«Чур, чур меня!» – одно рвалось из сердца...
И серый пепел залегал в душе
изгнанника, калики, погорельца.

Кем мы казались жителям травы –
седым ежам и пухленьким полевым?...
Как шли... К Москве, а может, от Москвы?...
По лестнице?... По тлеющим веревкам?..

Уж все осыпалось... Лишь этот терпкий куст
кус благодати – черной синевою
сиял...

Вернись!

Вернись!

Как я сама вернусь,
когда глаза в последний раз закрою.

6 мая 1995

Памятник Пушкину

Как сумрачно, как страшно на Москве!
Растаял снег – и прозелень густая
на славной, непокорной голове
вдруг проступила, взор живой пугая.

Она струится по твоей груди,
по раменам, по старенькой крылатке.
О, Боже! То не Пушкин впереди,
то смерть – и тленья злые отпечатки!

Лютуют чада праха над тобой!
Глумятся: мол, и ты подобен праху...
О снегопад, отдай ему рубаху,
укутай пышной шубой снеговой!

Хитер он, твой бессмысленный палач!
Он душит то забвеньем, то любовью.
Он смрад клубит к святому изголовью,
хохочет он, заслышав русский плач.

Он назовет иронией судьбы,
нечаянной игрою непогоды
и ржавчину на месте позолоты,
и вспоротые древние гробы.

Он храм откроет подле кабака,
мелькнет в бедламе патриаршья митра.
А я мечтаю, что твоя рука
сжимает меч, а не поля цилиндра.

Как бесы в полночь, разгулялась чернь.
Ей трын-трава само скончанье света:
стягает звезд нерукотворных зернь,
вбивает в землю отчий град поэта.

И знаю я, что тленья убежит –
навек вольна! – душа в заветной лире, –
а все невмочь, когда в дневном эфире,
в подлунном, словом просветленном мире
когтистый вран над Гением кружит!

16 февраля 1994

Разоренье

Куда влечешь, скиталица-душа?
Зачем?.. Но я давно уж не перечу.
Навстречу – темный бархат камыша,
и лилия плывет ко мне навстречу.

А за спиной – как холм, столетний сад
и молодые звуки фортепьяно.
Они навеки на ветвях висят
старинных лип – и на цветках бурьяна.

Но вот уж ночь. А в доме – никого.
Уже не дом, а дряхлая руина.
Портрет – быть может, деда моего? –
опутала густая паутина.

А вкопанный под липой круглый стол
облит, как белой скатертью, туманом.
Какие тени он к себе привел,
собрав их в круг на чаепитье странном?

И пьют – в бокалах – стылую росу,
и холодят виски листом зеленым...
А я – мала. Я к ним сачок несу,
трепещущий мохнатым махаоном.

Вспорх бабочки во тьме – как беглый блик
уснувшего в золе воспоминанья,
когда забыто все и сам язык
уже утратил звуки и названья.

Давно уж стерты эти имена –
Евгении, Гликерыи, Александра.
И стая писем ветром сметена,
и шашель съел бюро из палисандра.

А косы, что навек расплетены,
и ментик, что когда-то был гусаром,

германскою войной опалены
иль Смутных дней гуляющим пожаром.

Лишь ветошка лежит от тех времен,
лишь горсть стекла – из золотой оправы...
И только сад стоит, как пантеон
разбитых жизнью и угасшей славы.

Но и пустырь на меньше говорит
душе, что копит, как нектар, утраты, –
чем тешил бы ее веселый вид
палат, что были людны и богаты.

Пора уж прочь. Пригрезилось, видать,
что нынче сбор насельников разлуки –
страны, где, право, Божью благодать
не отличить от верности и муки.

Кричит сова. Ощерилась ветла
ночным дуплом. А всё родней и ближе
тот хаос, где гармония свила
себе гнездо – как ласточка под крышей.

13 декабря 1993

Эмигранты: «Вторая волна»

Они бежали не из плена,
а в плен – во время той войны...
Они не говорят: измена,
а так: мы – вольности сыны.

У них в уме крамольный Курбский,
что лыжи наострил свои.
А там бои идут – на Курской
дуге... Вы слышите? Бои!

А здесь – девятый год страданию.
Они ж нас учат, как пролить
ту чашу, что заветной ранью
дал Сыну Светлому испить

Господь... Они жуют маслины
с тех, в Гефсимании, олив.
Они забыли русской глины
червонный – в кровушку! – отлив...

Они желают мне гонений,
этапа, «сталинской» тюрьмы,
быть гневной жертвой преступлений...
Они желают мне сумы.

Они не знают, сколь богата
я здесь, где рядом – рай и ад.
И что на мне за них расплата –
там, где народы встанут в ряд.

Где весовщик – такой дотошный,
так строг, так скорбно-деловит,
что вряд ли нам скостит оплошно
тех блудных, праведных на вид.

Тогда паду я на колена
и на вопрос: «А чьи ж сыны?...» –

скажу: «То не волна, а пена
гремевшей в берегах волны!»

Скажу, что так неколебимо
о них затем судила я,
что и сама-то быть судима
готова, страница Твоя!..

20 февраля 1994

Противостояние

Россия. Лето. Лорелея.
О. Мандельштам
Германия – мое безумье!
Германия – моя любовь!
М. Цветаева

Нет, не была моим безумьем,
святой любовью – не была
страна, где рядом с тугодумьем
парили гения крыла.

И не была моею мукой
та Sehnsucht – ее тоска:
она пред русскою разлукой
горька, да – призрачна, тонка.

И не была мечтой моею
русалка темных рейнских вод,
и не звала я Лорелею
в российский летний хоровод.

И не была моей печалью
весна – полсотни лет назад,
когда над рейховой скрижалью
рыдал эсэсовский солдат.

И не была моим проклятьем,
увы, Берлинская стена.
Быть может, жить бы нам как братьям,
когда б не матушка-война!

И не кружил полет валькирий
моей славянской головы:
своих-то небылей и былей –
ей-ей, как во поле травы!

И люб мне возглас Лоэнгрина,
коль русским тенором смягчен:
лишь так и пьет родная глина
об Эльзе серебристый стон.

Лишь так и льнет – поскольку лепит
свое да в дедовскую печь
на обжиг – и всплывает Лебедь,
как утица, в родную речь.

И, право, Шиллера баллада
и даже Гёте глубина
мне из михайловского сада
без всякой зависти видна.

И даже мощь седого Баха
с лихвой могу я перенести,
пока поют не ради страха,
а всей душой: «Достойно есть...»

И, слыша стих, тот стих влюбленный,
грешна, забыть я не смогла,
что «бысть апреля день» студень
«и бысть на немци сеча зла...»

Не вымогай же преклоненья,
братанья, робости, любви
у русских моего каленья –
с чудскою льдинкою в крови.

У русских моего изгнанья
из милых мест, из отчих гнезд...
Не умертвить воспоминанья,
не угасить сиротских звезд.

И плачут детские молитвы
в моей надорванной груди.
И так – до Сталинградской битвы,
что спокон века – впереди...

29 апреля 1994

Русскому мюнхенцу

И вновь чужим печалям внемлю,
чужой обидою горю...

А все ж упрямо повторю:
не с теми я, кто бросил землю!

Не с теми я... А только с ней!
Я ей нужней, я ей роднее,
чем ты, заморский соловей
в баварской стриженной аллее.

Твоя словесная любовь
не перевесит бессловесной...
А слову – стыдно, слову – тесно,
коль рыщет враг и льется кровь.

А слово – ровня тем слезам,
каким Москва моя не верит:
сухою чашей горе мерит,
читает по сухим глазам.

И нет нужды мне присягать
на верность этой негасимой
звезде, что названа Россией,
земле, чье имя – Благодать,

земле, чья доля – злой позор,
судьбе, чье прозвище – Злосчастье,
поскольку ей с предвечных пор
верна, хоть режь меня на части.

Не отойду я от нее
в ее последнем поруганье.
Не попрошу я подаянья
у лютых недругов ее.

Не заключу лихой союз,
союз в клещах когтистых свастик.

Не уступлю я этот праздник
Победы... Я еще горжусь

той отчей славой... И за гробом
ступая, в память обо мне
играйте, люди, об огромной,
непокоряемой стране!

28 апреля 1994

Погосты

Не мезтью кровной – правом ровни,
бедой, что на руку легка,
рогожей, брошенной на дровни,
моя спелената строка.

Поскольку едем по кладбищу
родной измученной страны.
Туда – к Воронич-городищу,
где гарь, кресты да валуны.

Сюда – где свет Новодевичьих
едва мерцает куполов...
Не слышно девичьих и птичьих,
ребячьих звонких голосов.

Колдует Смерть, гуляет Смута –
как выюга дымная, поет...
Хмелен ли, хвор – но почему-то
опять безмолвствует народ.

Он по могилам, как по хатам,
разбрелся, спрятался в земле.
Молюсь пред Господом Распятым
с кровавым терном на челе.

Да призовет больное стадо,
сомкнет рассеянную рать!..
Запомни, брат, тогда и надо
спиной к погостам будет встать.

Спиною к дремлющим курганам,
к могилам братским и крестам,
гранитным, дутым, деревянным, –
к тем белым, пращуров, костям.

И тайно встанут за тобою
все, не истлевшие в земле,
что миром пали – под Москвою,
спеклись – в Бориспольском котле.

Все, кто на озере чудесном
был князем-витязем ведóm.
Кто спит солдатом неизвестным,
кто в славе – под Бородином.

И поле морем белоснежных
льняных покроется рубах:
ведь нету сна на хладных веждах
и нету мертвых во гробах!

И, полон богатырской силы,
воскликнешь: где ж ты, сила тьмы?..
В полки смыкаются могилы,
сколь видит глаз, повсюду – мы!

С копьем, мечом, с казачьей саблей,
с мортирой – кто к чему привык.
И горец притечет из сакли
небесной, и с конем – калмык...

В святом крещенье – одноверцы,
едины – в подвиге святом.
И чует сердце, чует сердце:
пребыть Отчизне со щитом!

Поскольку вон какой огромный
народ... И честью знаменит...
И вновь среди долины ровной
могучий дуб листвою шумит!

Он грянет, грянет, тот последний –
еще один последний бой...

Апрель. Просфора от обедни.
Истома Пятницы Страстной.

30 апреля 1994

Из уст в уста

Мещанский рай. Герани на окне.
И церковь Трех Святителей в сторонке.
Сюда придут, нетленные в огне,
с германских войн скупые похоронки.

Здесь пронесется крутогривый шквал
Зеленого, Буденного, Петлюры...
В тени акаций встречи назначал
корнет, который бабке строил куры.

Она ж, поповна, так была умна,
как это и положено дурнушке.
Ушел на Дон... А дальше – тишина.
Звон пятака по дну церковной кружки.

А дальше – тайна: как она спаслась
в родной стране – нещадной и великой,
твердя, что власть – на то она и власть,
чтоб нам под нею, правой, горе мыкать.

Лишенцы – сколько было их в роду! –
мещанского, духовного сословья...
Наследница, и я не пропаду:
от них во мне выносливость воловья.

От них при мне тот незаметный труд,
которым тайно держится держава.
Они стихами – изредка рекут:
им не нужна изменчивая слава.

Из них никто и не был знаменит.
Ну разве тот – нижегородский Минин...
В пустом саду акация пылит.
И бабка – не легка уж на помине...

Но в церкви Трех Святителей поет
прилежный хор опрятных малолеток.

Духовное сословие – живет!
Опять в чести и мой опальный предок.

Надолго ли?.. Иль в новый перегонной
пойдет весь причт – во глубь незримых пашен,
сроднившись не с тюрьмою, так с сумой,
вкушая во благих – небесных брашен?..

Надолго ли – воскресный перезвон
и всей былой Руси поминовенье:
того юнца, что горько был влюблен,
и конника, что с бою брал селенье?..

Час не ровён – и свечечку свою
опять затеплишь в мёртвой землянке...
Из уст в уста завет передаю
поповны – иль бестужевки-мещанки:

мол, сдюжите. Всё это – ничего...
Железом жжены и огнем палимы,
а справите Святое Рождество
во Новом Граде Иерусалиме.

А вся надежда – на широкий кряж
крестьянски-просвещенного народа...
«Дажь хлеб нам днесь, Пресветлый Отче наш!»
Бессмертна православная порода.

14 декабря 1993

Современники

У ненависти нет конца,
а только гневное начало.
Кто мстит за ссыльного отца,
что пал среди лесоповала.

Кто – за не знавшую любви
сестру («И увели до света...»).

Кто – за расстрелянного деда
 («Свинцом гремели соловьи»).

За раскулаченных дядьев.
За опороченную тещу.
За полный черепами ров.
За окровавленную рощу.

За бабу – именем Эстер.
Эсэркою слыла в невестах...
О, сколько их в СССР
могил незримых и безвестных!

За брата – славный был чекист,
начетчик Ветхого Завета...
За свата. Деверя. Соседа:
Бронштейн – но вовсе не троцкист!

За хмурый камень Соловков,
за злую наледь Магадана.
У каждого в запасе – рана,
и посчитаться он готов.

Кто – за детдомовство свое,
кто – за карьерные обиды...
И всё-то мстители не сыты.
Все голуби – что воронье,

кружат над остовом страны,
в ее стучатся домовину:

пусть, дескать, голову повинну
несет... Мечи ж – занесены!

И сам священник инда речь
ведет о прелести бесовской,
которою народ московский
и прочий дал себя увлечь.

И сам владыка инда так
Дом Приснодевы обличает,
как будто Промысла не чаёт
над ним и сам ему – чужак.

И проклиная всякий год
с того семнадцатого лета...
А было имя ей – Победа,
стране, где маялся народ.

И шла, как водится, она
в крови по щиколотку: право,
нет у Побед иного нрава,
у них у всех сестра – война.

У них у всех сестра – печаль
и повивальной бабкой – жертва,
а в Триумфальных арках – даль,
одна лишь даль в нахлестах ветра...

Не для тщедушных этот путь,
не для жрецов стерильной славы.
Не на воде стоят державы –
лишь на крови-то и растут!

И, проклиная-не проклиная,
жди воздаянья иль расплаты,
а «чем богаты, тем и рады» –
на крыльях вечности читай.

И точно горная гряда,
наш Кремль граничил с небесами,
горя коронными зубцами,
даря тернистыми венцами,
суля Воздвижение Креста...

Но если горца помянут,
его кремнистую дорогу,
так – что ни вздох его, то – в строку,
как лыко драное, вплетут.

Я б им сказала: исполать!
Ведь не в Аркадии счастливой
взросла душою терпеливой, –
а вот могу же понимать:

что шаг Истории – тяжел,
что вся она – одни улики,
солисты в ней – свинцоволики,
а гений – волк, а гений – вол,

когда играет – не на скрипке,
когда слагает – не стихи,
но всё, что суть его ошибки,
то – наши смертные грехи!

7—8 мая 1994

Сила навья

Больна. Вдыхаю запах смол.
Отвары пью лесных растений.
А по стене гуляют тени,
круглятся, катятся под стол
клубки старинных преступлений.
Орда... Опричнина... Раскол...

Казнь вечевых колоколов,
падение Новгорода, Пскова,
и чернь, что требует голов
щенков Бориса Годунова...

Прыжки хромого звонаря,
дней Смуты грешные печали,
когда на царство – лжецаря
в Кремле задымленном венчали.

А там и ярый Аввакум,
и, как гранит, упорный Никон.
И невский шкипер... Сколь угрюм!
И сына-то сгноил, гляди-ко!

И этой Северной войны
болотное двадцатилетье...
Стрельцы на зорьке казнены.
Князя – и те вкусили плети...

А там и яицкий казак,
«Петр Третий» – шитый, да не лыком,
что вверх по Волге, как бурлак,
башкирцев влек, мордву, калмыков...

А там и клетка для него,
как для невиданного зверя.
Царицы щедрой торжество
и скольких хлопских душ – потеря.

И Малороссии беда:
крипацтво, панская маетность²²...
Разделов Польши череда,
жида в славянщине оседлость...

Иль, наконец, седой зимой –
нелепый бунт, юнцов бесчинство.
А сколько – прогнано сквозь строй,
и сколько – в рудниках Нерчинска!..

Но вот уже садится вран
на черный, обгорелый тополь –
то весть, что от смертельных ран
пал л е г е н д а р н ы й Севастополь.

А там и Порт-Артура снег
летит колючею шрапнелью.
Закат!.. Брусилова разбег –
и снова трупы под шинелью...

И – смерч: гражданская война –
позорище порубки братской...
Красна дороженька, красна –
под стать той звездочке солдатской!

И вся история встает
как обреченная бесславыю...
Но это хворь в тебе поет,
томышь – гнездо на ветке вьет,
упырь живую душу пьет –
гони ты эту силу навью!

Она и пуще накрутит –
доколе тянется резина.
Она и зеркальце мутит:
гляди, какая образина!

22 Крепостное право, панское владение (укр.).

И всей земли твоей лицо
пробито паутиной трещин.
То дьявол катит колесо –
и всяк тут гол и обещен.

То – хворь, то – наволочь, то – сглаз,
то воеет смерть твоя, гнусавя.
Твори молитву в слабый час,
проси: «нас, грешных, не остави...»

И, по прощальному лучу
карабкаясь – блестит за тучей, –
томясь судьбою неминучей,
тверди, как Пушкин: не хочу
страны – другой и чести – лучшей;

что родословная тебе
дана не кесарем, но Богом –
Тем, Кто и в рубище убогом,
в своем терпении глубоком
промыслит все в твоей судьбе!

17 февраля 1994

Парад Победы

Тот голос хриплый, окрыленный,
и грозный маршал на коне,
и ты, народ непокоренный,
в весеннем сне явились мне.

Июнь был влажным и зеленым,
и в искрах теплого дождя
оно казалось изможденным,
лицо бессменного вождя.

Он не смотрел как триумфатор.
Он с виду старый был солдат:
полковник, что теперь за штатом?
«слуга царю, отец солдатам»? –
о, нет!.. А все же некий фатум
таил его усталый взгляд.

Штандарты, алые знамена,
фронтов неодолимый шаг.
О, как он смотрит напряженно
на эту сталь, на черный прах

чужих полотнищ: древком долу
как их швыряют от бедра –
как к богоравному престолу
иль в пасть священного костра –

к стене Кремля!.. И в этом жесте,
небрежном, рыцарском, – не месть:
брезгливость, воля, чувство чести –
Отчизны царственная честь!

А он спокойного вниманья
исполнен – вместо торжества.
Недвижный в дождевом тумане
и на ликующем экране
приметный, может быть, едва.

Он не сказал тогда ни слова —
как и положено тому,
кто глянет ясно и сурово
с небес в зияющую тьму

своей, столь одинокой, смерти,
своей, уже чужой, страны...
И он мне чудится, поверьте,
невозвратившимся с войны.

10 мая 1994

Генералиссимус

Он не для вас, он для Шекспира,
Для Пушкина, Карамзина,
былой властитель полумира,
чья сыть, чья мантия – красна...

Чей белый китель так сверкает,
как в небе облачко – в тот час,
когда Спаситель воскресает
и смотрит ласково на нас...

И вот уже отверсты храмы,
и Л е т а М н о г а я поют
тому, чья смерть – не за горами,
кого предательски убьют.

И он, пожав земную славу,
один, придя на Страшный Суд,
попросит: «В ад!..

Мою державу
туда стервятники несут...»

11 октября 1994

Очевидец

Последний день былого Рима...
Сердца болят, сердца горят.
На Лучший Холм неодолимо
вступает варваров отряд.

И боле не властитель грома
Юпитер, не погонщик туч.
Бессмертный Рим, «инвикта Рома»,²³
как дым от капища – летуч.

Уже Крылатая Богиня
не ждет сынов на свой алтарь.
На месте форумов – пустыня
в обломках... Встрепанный звонарь

каким-то жалким дребезжаньем
вливает в уши торжество
чужих племен – и конским ржаньем
забито серебро его...

И ты, увенчанный патриций,
вперяя взор в закат, закат,
все помня – кубки, шлемы, лица,
мечи, огонь олимпиад,
и храм с пророчицею-жрицей,
и цирк, и термы для услад, –
с последней страстью очевидца
вскрываешь в перстне верный яд.

7 марта 1994

23 Непобедимый Рим (лат.).

Прощальный парад

Последний ваш парад, фронтовики!
Благословляет вас

земля родная.

Как мать – уже сама полуживая,
а тащится, глядит из-под руки

вослед... И крестит, крестит издали,
как будто разрывая пуповину, –
стога, раkitник и сыновью спину,
а та в закатной зыбится пыли...

А та уж за холмом земли родной...
Шеломом черпал сын чужую Шпрее.
Артиллерист из мертвой батареи,
не плачь, сержант, о том, что ты – живой!

Не плачьте, маршал!.. Золотой горнист,
труби, как встарь, вздохни крутою грудью!..
Играй, гармошка, гулкому безлюдью,
как он слетал с берез, неслышный лист.

Как он летел в победную весну,
кружился в вальсе, пряный, горьковатый...
Не плачьте, вы ни в чем не виноваты,
прошедшие священную войну!

Последний ваш парад... Такой закат,
как будто бы не солнце – уголь чадающий
садится в хмарь над Родиной скорбящей...
Ей выел очи прах ее солдат.

Ей вынул душу окаянный враг.
Так одурманил пышной беленою...
Но он навек – под вашу пятою,
поверженный, пылающий рейхстаг!

Последний ваш парад... И всех наверх
велел свистать ваш легендарный кормчий.
И ты встаешь, войны чернорабочий,
коль он в строю, суровый Главковерх.

И тот нетленен – впаянный в седло,
ваш Витязь, понукающий Победу.
Вот едет, едет он по белу свету
домой, в свое калужское село.

В свою Стрелковку... В сторону отцов...
Почти властитель молнии и грома,
о, как давно, давно он не был дома,
в крестьянской древней вотчине стрельцов!

Он кажется и выше, и бледней.
И резче рта решительная складка.
В руке его – железная перчатка,
им поднятая... Взор его – острей.

Святой Георгий за его плечом.
И конский круп белеет оснеженно.
И ниспадают алые знамена
архангела лоснящимся плащом.

И рассылет острое копье
по белу свету солнечные блики...
Неодолимый, славою великий,
о, дай нам, Витязь, мужество твое!

Вот миновал он горные луга,
сухие придорожные ракиты,
глухой Европы каменные плиты,
кисельные чужие берега.

И вот он у заставы, где погран-
отряд polegший вскинулся по чести...
Во лбах дымится звездочка из жести,
и каждый, смерть поправ, бессмертьем пьян...

И вот он на Манежной, у Кремля,
у черного, лихого котлована:
фугас ли тут упал? – такая рана,
что выживет ли мать-сыра земля?

И вот уже у Спасских он ворот,
и бьют куранты... А от башни Спасской
былиной веет, богатырской сказкой,
откуда он ведет свой гордый род.

И, всхолмьем Красной площади скача,
он озирает ваш парад прощальный,
клянясь вам, что пришелец чужедальний,
пришед с мечом, погибнет от меча!..

6 апреля 1995

Журавлиное перо

Ты – русский националист?
И впрямь – в руке твоей синица...
А здесь – апрель: еще не лист –
лишь цвет мать-мачехи лучится.

И так плывут колокола,
так машет вербой воскресенье,
как будто бы земля – мала
для русской веры во спасенье...

Кадишь народу моему?
Сулишь домашние улады?
А он без гнева и надсады
кроит холщовую суму.

Он шьет – за плечи – калиту,
строгает кудреватый посох –
и в путь!.. Такой в апреле воздух:
кружит и манит за черту,

межу, ограду, частокол,
за ободок земного рая,
где в клетке хохлится щегол,
мрет канарейка золотая.

«Куда ты старче, и пошто?..
А он: «Вестимо, за землицей».
«Ужель пшеница не родится
иль речка плещет в решето?»

А он: «Иду я за горой».
«Какой?» – «Зовется Араратом.
Там Ной пришвартовал когда-то
ковчег. Так я – за тварью той...

Слыхать, разбеглась по земле,
видать в сиротстве прозябает.

Несу печеную в золе
картоху – пусть себе вкушает...»

«Про что ты, старче? На печи
лежал бы, коль напился пьяный».
«Про что? Про море-океяны.
Там бьют из рыбыны ключи».

«Ты про кита? Зачем же кит
тебе, в лягушкину запруду?»
«Прудок наш тем и знаменит,
что всяку притягает воду».

«Куда ты, старче?» – «В небеса».
«Что там?» – «Журавушка летает.
Кручиной застит мне глаза –
уж так «курлы» его рыдает!..

Разлуку, что ли, перемочь
не может с милою землею?..
Я за него отдал бы дочь,
а он мне – перышко седое».

«На что же серое перо?
Ты, верно, путаешь с Жар-птицей...»
«Авось внучонку пригодится –
писать *Аз, Буки и Добро...*»

«И Веди?...» – «Да вестимо! Ведь
я так и рек, что за землею
ступаю...» – «В небо голубое?»
«А как разъять – ее и твердь?...»

«И мнишь, что счастье принесет
родной Руси земли прибыток?»
«Да ты, – ворчит, – уж больно прыток.
Что счастье? Счастье— не расчет!..»

А в чем расчет наш?.. В журавлином
пере? Крыле? Мечте златой?..
Полмира – в том мешке холстинном,
а сам-то странничек – с клюкой

влачится. Хриплое дыханье
свистит в надорванной груди.
За расстояньем – расстояние.
Две тыщи лет, как он в пути.

Глощает пыль – и сладко верит:
то ярко, остро пахнет мед,
то русский берег, русский берег
опять мать-мачехой цветет.

Проста душа его, нелепа
тоска – пора б и остудить!
Но кто сказал: «Земля – для хлеба»?
Она – для неба, может быть.

И не гусиным – журавлиным
скрипим мы призрачным пером,
когда *Глагол* с распевом длинным
выводим следом за Добром.

Когда чертим: *Аз, Буки, Веди*
и это влажное: *Земля*;
когда твердим: «О Тихий Свете,
сойди на скорбные поля!

За всех, про всех Тебя мы молим:
Твоя же милость – велика!..»

Почти крестьянские мозоли
таит внучонкина рука.

3 мая 1994

Музыка

на Святки

От автора

То, что мы переживаем сейчас, с уходом Георгия Васильевича Свиридова, – близкое к тому! – выразил 90 лет назад Александр Блок. «Часто приходит в голову, – писал он, – все ничего, все еще просто и не страшно сравнительно, пока жив Лев Николаевич Толстой... Надо всегда помнить, что сама жизнь гения есть непрестанное излучение света на современников... А если закатится солнце, умрет Толстой, *уйдет последний гений*, – что тогда?»

(Ясно, что Блок относился к Толстому не так, как сегодняшние фарисеи, путающие свой светский, свой политический статус с духовным чином, коего не сподоблены.)

Это «тогда», пугавшее великого поэта, снова случилось. Уже – с нами.

Ушел тот, кто казался последним высоким столпом русской культуры, гранитной ее опорой, последним бесспорным носителем Творческого Духа.

Что ж теперь?..

Опустим ли руки, расточимся ль в унынии по бездорожью, не видя живых маяков, или же напряжем свою творческую волю, сознавая, что не на кого «переложить» основной груз забот, что прогнулись своды культурного мироздания – и кто же подставит плечо?..

Рядом с этим вопросом – другой: те великие жертвы, какие приносит Россия, претворятся ль в купель очищения, напитают ли новую, не рожденную еще силу?..

Русский реквием по Свиридову да сверкнет крупницами света, да взлелеет зерно, из которого солнечным звуком прорастет мощный гимн

воскрешенной России! И в его колокольное «Славься!...»
вплетено будет и величанье Георгию Свиридову.

8 *января 1998*

Вечера русской музыки

Совсем не страшно – на свирели,
на лире, лезвии ножа,
пока и в мае, и в апреле,
листами нотными шурша,
кружат Свиридова метели,
поет Гаврилина душа.

И, умилен Вечерней жертвой,
ты прячешься между колонн.
Какою радостью бессмертной
тут каждый звук посеребрен!

Какой смиренною печалью,
какой властительной мечтой...
И плачет ночь под черной шалью,
и пляшет месяц молодой.

И сами звезды колядуют,
и вьются ленты голосов,
и музы в лоб тебя целуют,
начётчик букв, подённый слов.

Тебя коснулось дуновение
привольных сфер, отверстых недр –
дубрав купальское волнение,
Фавора златоверхий ветр.

12 мая 1994

Декабрь

1

И вновь свиридовской «Метелью»
твоя спелёната душа –
и дремлешь под мохнатой елью,
снегами синими дыша,

свечами желтыми в церквушке,
как раз затепленной в ночи...
И снова – музыка, и Пушкин,
и вскрик, и струнные лучи.

То скрипки – или скрип полозьев:
спешит нахохленный ездок.
И никнет вихрь, обезголосев
от этих струн, от этих строк...

2

Метель: как смерть, она бела,
как дева Севера, румяна.
А в доме – звуки фортепьяно
и в печке теплая зола.

На креслах дремлет серый кот,
мелькают нянюшкины спицы.
А за окном – метель дымится,
истошным голосом поет.

Но вот уж бальный ветерок
вспорхнул из снежной колыбели...
Пуржит в лицо, пуржит от ели
сухой серебряный снежок.

И набегает из полей,
прибоем плещет колокольчик.

«Кто там пожаловал, дружочек?
Веди к огню его скорей!»

3

Всего-то – вальс. Короткий вальс.
А как пропах душистым мехом,
а как свежит холодным снегом,
а как пьянит... И тихим смехом
искрятся звезды синих глаз!

Как он старинен. Как он нов.
Как легок лёт медовых скрипок!
Он – из Дубровиц, из Подлипок,
напев, ликующий без слов!

Еще на выданьи она,
прапрапрабабушка с букетом;
танцует с отроком-корнетом.
И это будет только летом –
не скоро! – день Бородина...

4

Еще не вальс, а полонез
и важный, медленный grosфатер
да икры круглые на вате
у легкомысленных некстати,
в камзолах, батюшек невест...

Еще не грянула гроза,
«гроза двенадцатого года».
Но как волнуется природа,
и у военного народа
блестят отвагою глаза!

Венчанье тайное... Побег...
И эта сельская церквушка. –

Иисуса русского избушка...
О, как заплакана подушка!
И мечется метельный снег.

Еще не вальс, а лишь метель,
гуляющая непогода,
и древнегреческая мода
в нарядах, и в чести – свобода...
Метели белая купель.

И стиль по имени ампир –
всё белизна при позолоте...
И в Вильне грезит о походе
гусарский полк... А тут в дремоте
разнежен деревенский мир.

Пуховики, дробовики...
Молчат заливистые псарни.
Что там на Немане?.. На Марне?..
Листики подмётные в казарме?..
Летают ядра, как снежки.

Еще не вальс... Уже не он...
И эти худенькие руки
навек заломлены в разлуке...
Но реют свищущие звуки
и льется белый шелк знамен.

Уже не вальс, душа моя!
Уж отплясала, миновала
сама метель... И стынет зала
в рассвете сером – после бала...
В лесу колонн застряла я.

И доживает славный век
крестьянский сын, седой маэстро,
пред кем отверста эта бездна
времен –

и звездного оркестра
метельный взмах, поющий снег...

5

Но кто-то пишет мадригал
по ветхим правилам искусства,
внушая сладостные чувства
и тайно занимая хруста
снегов – в расколотый фиал...

Гуськом сбегаются в кружок
гречанки – Музы-босоножки,
и вдоль протоптанной дорожки
на соснах шишки – точно плоски,
смуглеют... Свищет батожок.

Одна – крестьянскою рукой
отводит прядь со лба и ясно
глядит... И так она прекрасна!
Почти мертва, почти безгласна.
Вздыхает над твоей строкой.

Не то, мол, Господи!.. Не так,
«как их писали в мощны годы»!..
Про что она?.. Про всё! Про оды,
про мадригалы, про гавоты,
про вальсы... Про тебя, простак!

Но постепенно что-то там
случается – не знаем сами:
тьнь вóрона на тени рамы
в руинах дрогнула крылами,
и вот не прах уже, а храм,

круглясь, возносится в снегах,
хоть в беломраморной метели
виски, под вихрем, поседели,

покуда ангелы запели
в басовых, сумрачных ладах.

6

А томик Пушкина в руке
дрожит – вот-вот в камин сорвется,
небось, Жар-птицей обернется,
и разом музыка взметнется,
мерцающая в камельке.

Воркующая, словно кот,
дразнящая, как небылица...
Ох, старость: дремлет – не спится!
Метель мятежная клубится.
Белеют клавиши, как лёд.

Свое зеркальное крыло
рояль вздымает непокорный.
Не струны – грозные валторны
в вершинах сосен приозерных...
И арфы-ивы замело.

И этот льдистый перезвон
под аркой белой круговерти
о дрогах говорит, о смерти,
о той зеленокудрой тверди,
где Пушкин, музы, Аполлон;

где нипочем ответа нет:
кто коновод, кто – исполнитель,
кого метель в сию обитель
прибила?.. Всякий небожитель
тебе и кормчий, и сосед!

И несущественно уже,
кто так чеканил филигранно
печаль старинного романа...

Какое нежное пиано!
Какое мягкое туше!

7

А тот пленительный романс,
где скрипка жалостная плачет,
еще, как встарь, спасает нас
и боль в рукав метели прячет.

Сухой поземкой вьется звук,
то легким посвистом полозьев
слетит со струн – и гаснет вдруг
в морозном шорохе колосьев...

То залетит в гусарский полк,
сребря уздечки, сабли, шпоры,
трепля знамен тяжелый шёлк,
чтоб вновь укрыться в лисьи норы...

То возле Жадрина-села
взъерошит ив седые гривы...
Как санный след, фата бела.
Чу! Колокольца переливы!

И одинокий чернобыл
скрипит, топорщится под снегом,
и снова – взмах метельных крыл
за конским ржаньем, санным бегом!

Слепит, и кру́жит, и пуржит...
Ужель метель-Сивилла знает,
кто будет в августе убит,
а кто шутя любовь стяжает?

Неутолимая тоска
под хохот вьюг!.. В степном буране
листок свечного огонька,
зачем он плавает в тумане?

Зачем дрожит в кадильной мгле,
где снежный прах и пар дыханья,
коль нету казни на земле
лютей, чем огонь воспоминанья?

Но то венчанье в ледяной,
ночной, завьюженной церквушке,
в канун години грозовой,
какой аукнется судьбой –
пропойте, скрипка и гобой,
шепни нам, простодушный Пушкин!

8

Какой-то Белкин сочинил,
шутник-поэт пустил по свету,
и повторяет повесть эту
смычок – смычку, сосед – соседу,
Руси заветной старожил.

Руси уездной, снеговой,
той, что почти у Лукоморья,
где дуб шумит, с пургою споря,
где слезы счастья, слезы горя
звонят единою строкой...

9

Не станет книг, не будет слов,
но предреку – не обессудьте:
он сам соткётся на безлюдье,
склубится яблочком на блюде,
мотив пылающих снегов!

Уж распрядется полотно,
истлеют нотные тетрадки,
но в том же праздничном порядке

воспрянет музыка на святки —
с Господней волей заодно.

Густой алмазною мукой
припудрит кок и русый локон,
ручьём серебряных волокон
втечет в пролом трельяжных окон,
где вечный зыбится покой.

23—30 марта 1995 г.; февраль 1998 г.

Зимние птицы

I

Молчим. Скорбим. Осиротели.
А может быть, она – мертва,
та Смерть под музыку метели
в канун Святого Рождества?

Ведь даже встрёпанные птицы
покинули ее плеча,
чтоб впиться в нотные страницы,
крича, гортанно клопоча,

но вдруг светлея, розовея,
чтоб, сбросив черное перо,
вплетать в напевы снеговья,
напевов райских серебро...

II

И воском ласковый сочельник,
как медом солнечным, пропах.
И шепчет лапник, шепчет ельник:
«Что было – прах, легло во прах;

но то, что дух, – неодолимо:
себя свежей, себя вольней,
летит – молить неутомимо
о милой Родине своей!»

III

И черный ворон, черный ворон
прощальным лебедем плывет...
А как алкал кровавых зёрен
и как впивал соленый пот,

когтя безмолвие бумаги,
из коей вздох, из коей звон
пробился, как ручей в овраге,
что талой вербой забелён!

И благовещенские птицы
скруглят изюменный глазок:
не жаворонок ли струится,
иль сок березы – в туесок?

Не пробужденье ли от стужи,
что сорок дён мела, мела,
рвала дерев родные души,
людей за дрогами гнала,

но вдруг утихла за кладбищем,
взметнув румяных снегирей
над озаренным пепелищем,
над зябью музыки Твоей?..

6—7 января 1998

Пасмурное

I

Какие дивные метели
мели в начале января!
Что берендеи, поседали
кусты, алмазами горя.

А шарик снегиря на ветке
такую песенку свистел,
что всяк, кто хвор, и всяк, кто в клетке,
орлом иль гоголем глядел.

И только я была печальной
и думала: «Какая мгла!..»
И воском свечки погребальной
тетрадь безмолвную прожгла.

II

И проступили поневоле
во тьме такие письма,
как на снегу в сорочьем поле,
где непорочна белизна.

Как на горючей плащанице,
перстами старицких черниц
расшитой:
жемчуг ли струится,
снежинки ль падают с ресниц?

И благовестный этот холод,
и благовонный сивый дым
повили гроб – и, точно молот,
ударил колокол над ним.

И были мощны эти звуки,
а причитальный перезвон,

как плач, плескался по округе,
сребря свинцовый небосклон...

III

Я – на Девйчьем, где под грунтом,
алчбу с алчбой не примирия,
секутся ляхи Сигизмунда
и ляхи тушинца-«царя»;

где свищут мусоргские струны
и, зародясь на небеси,
вскипают лютые перуны –
фортиссимо всяя Руси!

IV

А ветер Смуты, ветер Смуты
и лжи брящающий кимвал
его последние минуты
мрачил и пеплом овевал.

Но в строгом пенье а капелла
и в гордой перекличке лир
всё так же дерзостно звенело:
«Счастлив, кто посетил сей мир...»

20—21 января 1998

Прощание на Новодевичьем

I

Пусть нету берегов у царства,
где к небу дыбятся кресты,
хранит он русского крестьянства
патрицианские черты.

И пусть похож уже на Данта:
так важен, строг запавший рот, —
седой подругой музыканта
не вьюга ль русская слывет?..

II

Здесь — *кубок* вьюг. *Дозор* мороза.
Здесь тяжело дышит Годунов.
Здесь Блока траурная роза
горит на саване снегов.

Здесь тайный по́стриг. Сле́зы вдови.
Щека, как воск, и черный плат.
Здесь гневный взор царевны Софьи
в оконцах сестринских палат.

Но башен розовые чаши
подъяты в сумрачную стынь,
твердя, что нет на свете краше
земли, горчайшей, чем полынь,

земли, что в недра пуховые,
качая, спрячет колыбель,
покуда песни горевые
заводит мамушка-метель.

III

А все же, скульптор, сочини
ему такое изваянье,
чтоб снега белые огни,
звезды Рождественской сиянье

полузатмили облик тот,
ушедший в луч, плывущий звуком
туда, где ангельский народ
стоит крылатым полукругом

и скорбно озирает нас,
осиротевших, безутешных,
едва живых в разлучный час –
беспесенных да бессловесных...

10—11 января 1998

Венок и колокол

Венок еловый, ледяной
взамен венчающего лавра...
В нем дремлет смол янтарный зной,
в нем хмурит бровь земная слава.

Суровый траур затаен
в его меху вечнозеленом.
Колючим снегом убелён,
посеребрён раскатным звоном.

И мнится, будто звонари
по всей Москве взлетели к небу.
Гудят басы-богатыри
широкой смерти на потребу!..

Зачем тот колокол затмил
поддужных колокольцев звоны?
И голубь – камнем со стропил,
и в синем инее вороны.

Ужели только этот стон
от прежней музыки остался –
стон, раскачавший небосклон,
взамен ласкающего вальса?

А всё же нищий на углу
его чуть слышимо играет,
клонясь челом своим к челу
того, кто в вечность уплывает,

того, кто праздник наших зим,
все скрипки вьюжные уносит, –
венком увенчан ледяным,
морозным тернием лесным
и пущей милости не просит...

6 февраля 1998

Девятый день

Еще и ель моя свежа:
горит в угоду новогодью.
Но плачет Музыки Душа,
душа, покинутая плотью.

Еще и пушкинская тень
остра, быстра в колонном зале.
Но гаснут свечи на рояле,
и полон мглы девятый день.

Еще стрекозы просверкнут
в золотых власах крылатой арфы
и струны
вербный мёд прольют,
как мироздание из ладоней Марфы.

А флейта, внятная и там,
где сгрудились юго-славяне,
еще свирелит по лесам,
пастушит в солнечном тумане.

Еще гудёт *Зеленый Шум*
широкой праздничной кантаты, —
а мы полны тревожных дум
и тайной робостью объаты.

Как будто призрачную сень
незряче зрим, дремотно чуем...
То вьюги белая сирень
чело нам студит поцелуем.

То вражьи сети — иль покров
молитвенно простерт над нами?..
А вьюга горсти жемчугов
швыряет в мертвенное пламя.

«Всё мрак и вихорь», – говорим,
да нет родней ее купели,
в ней – блеск седин, цветенья дым,
железа лязг и дробь капли;

в ней – гнев, и навьи голоса
хохочут, свищут и стенают,
и словно белые леса,
с корнями, по небу летают...

А вот приляжет у креста,
взобьется облачком в изножье, –
лебяжьим помыслом чиста,
утешлива, как слово Божье.

И, хвойной веткою шурша,
она до горнего чертога
превознесет тебя, душа:
к Отцу – от отчего порога!..

13 января 1998

Затишье

А розы белые вдове
на белый холм сложить пристало,
на снеговое покрывало,
туда, поближе к голове...

А золотое «чик-чирик»
пропеть пристало воробьишке.
Он склюнул семечко из шишки
и взмлет в небо через миг.

А горсть рябины огневой
рассыплет детская ручонка.
Щедра студеная сторонка.
Лучист кладбищенский покой.

13 февраля 1998

В поле

I

Что горше зимних похорон?
Кусты цветут сыпучим снегом,
а меж земель и хмурым небом –
плащи простуженных ворон.

Что слаще снегового сна?
Под вещим дубом, лунной елью...
И гроб подобием зерна
уходит в жаждущую землю.

II

Да и ворóны не кричат...
Лишь древней колокольни звоны.
И не распев – набат, набат:
по всей России – похороны!

По всей Руси текут ручьи
живых, бредущих за гробами,
а мнится: черные грачи –
за боронами, боронами...

12 января 1998

Молчание

А розы белые снегов
чисты, нежны, благоуханны.
Как славно: мы еще не званы
в могильный холод лепестков.

Как странно: мы еще стоим
по эту сторону печали.
А те – ушли и промолчали,
как им светло, как страшно им...

16 февраля 1998

Под Сретенье – сороковины

I

Ныне отпускаеши...

День Сретенья, ты день разлуки!
Прощальный звон... Приветный звон...
Как жадно старческие руки
простер усталый Симеон!

Как нежно примет он Младенца,
как трепетно введет во храм!..
Белеют снегом полотенца
вокруг иконы по углам.

Ведь, право, нет уже причины
томиться в дольних берегах...
И ты, душа, из отчей глины
летишь, летишь, покинув прах.

Оплакав прах, что был прекрасной –
земной Отчизною твоей,
где голый куст рябины красной –
зрит огорченный воробей.

Где гимны русскому раздолью
смычки метельные поют;
где всклень полна счастливой болью
душа, свободная от пут.

Где голубое Лукоморье
затмило взору явь и близь;
где волей солнышка на взгорье
озимых всходы поднялись.

Где разом вербы посмуглели
и снится Вход в Ерусалим...

Где робко, на Страстной неделе,
«Минуй мя, чаша...» повторим.

II

А Сретенье зовем – Громница.
И се – громничная свеча
среди звезд морозных золотится,
как летний полдень, горяча.

И се – кутя поминовенья
из красных, каменных пшениц.
Еловой ветки мановенье...
Чуть слышный возглас половиц...

И, как надгробие печали,
как, может быть, сама печаль,
чернеют ноты на рояле,
как чёрный лёд, блестит рояль.

III

День Сретенья!.. Осиротенья
вчерашний день... Но как светла
долина слёз, обитель пенья,
где сорок дней метель мела;

где скорбно в белоствольном зале
склонился долу мерзлый куст;
где всей землей мы прошептали
по Музыке сорокоуст.

21, 29 января 1998

ИЗ КНИГИ

**«Возвращение
к Некрасову»**

От автора

<...> Некрасов первым назвал «русскими мыслями» то задушевное, боящееся слова содержание, которое мы понимаем, просто взглянув друг на друга. Переглянувшись. Чуть улыбнувшись уголками рта. Или, напротив, – опустив глаза. То содержание, которому, пусть «нет воли», как говорит Некрасов, но и «нет смерти – дави не дави».

Без этого несказанного, наподобие музыки, содержания *нет* русской поэзии (а есть разве что имитация ее). В ХХI веке так же, как в ХIХ.

И все-таки прямо назвавший «мучительно милой» суть национального, Н. А. Некрасов оказался с годами потесненным в моем сознании. Порой его образ, как и образы его героев, рыдающе-песенная музыка раздольного, мощного его стиха (который хочется сравнить с самой Волгой), его натуральнейшее, единственное в своем роде – «самое русское» даже в великой русской поэзии – содержание затмевались другими художественными впечатлениями, отходили как будто на второй план, а верней сказать: легли, видимо, в самую основу души и духа – а основе не страшно и, может быть, только радостно, если что-то ширится, растет от нее. Основа – незыблема. Не стареет, а лишь крепнет, выдерживая разнообразные наслоения, но, конечно, не отпуская от себя, когда она – основа. И вдруг посылает «из-под спуда» свой чистый, непобедимый луч. <...>

* * *

Больной Некрасов... Кто измерит,
в беспечном разуме вместит,
что он уже у дальней двери –
той, за которой мрак горит.

Той, за которой свет чернеет –
как это видимо извне...
Как влажен лоб! Рука слабеет.
И тени пляшут по стене.

Иван Крамской его рисует
в столь белых, чистых пеленах,
в каких и в гроб не стыдно... Дует
сквозь шторы. За диваном – страх:

забился в угол... Тонко мучит
в истомный час – вблизи утра...
А школьник маленький заучит,
что Муза – кровная сестра.

«Сестра народа...» – прошептал он.
«Сестра народа – и моя!»
Чернеет крест на снеге талом.
Когда ж распалась та семья?

20 февраля 1994

* * *

Он – детских лет воспоминанье.
От школьных зим – в окне светло.
Полжизни пробыл он в изгнанье,
и снова душу обожгло
его анапестов рыданье,
его простое ремесло...

21 февраля 1994

* * *

За что люблю, мой ум не знает,
его унывную строку.
В ней вдовья нива увядает,
В ней стон вгоняет вас в тоску.

В ней словно тетерев токует:
всё об одном, всё об одном...
Она не часто нас балует
огнистым, пенистым вином.

Порою вроде даже прозой
возможно смысл ее сказать...
А вот попробуй – этих розог,
лозин вязанку развязать!

А вот попробуй – этот братский
междукрестьянский разговор
переложить на норов барский,
чтоб и не виден был зазор!..

21 февраля 1994

В Грешневе

Дымится луг, белеет греча,
в крутом румянце клевера,
рассвет на Волге: с детством встреча
и кровь на крылышке пера.

Аллея лип, где с милой тенью
опять пересечется путь –
как будто белою сиренью
повеяло в больную грудь.

И горе вновь тебе сжимает
сиротством – впалые виски.
Но эта тень не с тем витает,
чтоб слышать весть твоей тоски.

Но этот надмогильный камень,
когда к нему приникнешь лбом,
всё пахнет солнцем, васильками,
полынным, глиняным теплом.

Тут мать лежит. Тут рай Грешнёва:
погост, церквушка, шум берез...
Все остальное – слишком ново,
не стоит музыки и слез.

Весь ум, весь опыт, что был нажит,
лежит, как сор, среди двора.
А стих о том лишь и расскажет,
что было завтра и вчера.

23 февраля 1994

О песне

Меж высоких хлебов затерялося...

Н. А. Некрасов

Нет, совсем не чернильною малостью,
не усердьем, как шепчет молва, —
Божьей милостью, ангельской радостью
можно вымолвить эти слова,

не колосьями — струнами длинными
(а колосья, как струны, поют)
неповинных венчая с повинными,
чая им в Божьем сердце приют.

22 февраля 1994

* * *

Вот и сельцо. То – убого:
голод да свист батогов;
то окружилось высоко
ладным заслоном стогов.

В йзбу войти... Как в телячий
влажный и темный закут.
Дед на лежанке незрячий.
Вислого ситца лоскут.

Даже не видно божницы:
черные полчища мух...
На́ поле, на́ поле жницы,
вплоть до болезных старух.

Громкие всхлипы дитяти:
зыбку видать из сеней.

«Глянь-ко, как трудится дятел
в красной шапчонке своей!

Там, не ели, среди сучьев, –
вон как удары крепки!..»

Ножки-то – тоньше паучьих,
сливы синей – кулачки.

Дети, крестьянские дети!
Чуть народится – помрет.
Вот уж на белом рассвете
гробик сосновый плывет...

Всё б ничего, каб не горе,
всё б ничего, каб не мор!
Берег у русского моря
видит заботливый взор.

Всё б ничего, коль терпенье,
вольный иль каторжный труд
в то роковое мгновенье,
подлинно, всё перетрут!..

Рад бы – на смертную битву,
сгинуть на ратном пути.
Рад бы святую молитву
Господу Сил вознести.

И невеселые мысли
за литургией кипят.
Даждь!.. На Твоем коромысле
серые избы висят!

15 августа 1994

* * *

Какой же мать его была?
Видать, и впрямь святою, —
когда стоит, как снег бела,
за каждую строкою.

Когда он припадает к ней,
ища благословенья
для этих нехристей-детей —
для вас, стихотворения.

Когда ее тончайший слух
следит за дольным стоном.
Разбилась чашка, пал ли дух —
всё отдается звоном

в ее невидимом краю,
куда ушла до срока,
оставив здесь любовь свою
у самого порога...

Печальнице, ей выпал рай,
где ни слезы, ни тучки.
Она ж в низине то и знай,
в доме его, в отлучке.

Она проходит, как свеча,
сквозь мглу дремотных улиц,
и бледен свет ее луча —
чтоб люди не проснулись.

Невмочь ей жить — невмочь ей спать
и вот, полуодета,
все крестит сынову тетрадь,
как прежде — детскую кровать,
всё медлит до рассвета...

22 февраля 1994

* * *

Родство небесного с земными
вещами – ведомо давно.
Колосья кажутся святыми,
святым – льняное полотно,

когда невольно взор поэта
на дол, на йзбу упадет,
на эту рожь в исходе лета,
какую песнь его пожнет.

Мы знаем, Господи, – вестимо!..
Но так ли труден этот труд:
лад балалайки, привкус дыма
да так и дети-то соврут!

Но эта тень от колокольни
и от ночного звонаря –
рассказ дотошливый, окольный,
где всё не впрок и всё не зря!..

Но этот свет, но этот воздух, –
глагольный ряд, лучинный чад, –
где горсть пшеницы – точно звезды,
меж звезд – перепела кричат!..

Поди сотки его из дыма,
рогожек, лыка для лаптей,
пока поэт проходит мимо –
стрелять осенних дупелей!

23 февраля 1994

Русская энциклопедия

Ужели рифмой дактилической,
чье эхо слышно за версту,
достиг он зоркости провидческой,
той, что затмила красоту?

Ужель растяжкой метрической
воздвиг он лирику свою
в разряд поэзии эпической,
где петь ветрам – не соловью?

В ранжир поэзии трагической,
в какой рыданье – через край,
где прямо в качество – количество
переросло: не убавляй!

Не убавляй слогов, протянутых,
как милосердная рука,
к безмолвью сирых и обманутых,
к лугам, где мокрые стога;

к печальным ивам и понуренным
коровам, что на водопой
под небом северным, нахмуренным
бредут убитою тропой...

От балалайки – до высокого
гуденья недр, дыханья сфер:
взмывает песня вольным соколом
и льнет к земле, как землемер.

Надрыв пошиба деревенского,
что – у погоста, кабака...
Не быть бы прозе Достоевского,
когда б не рядышком – строка,

что душу рвет, за горло схватывать
не устает – не отдохнет,
чтоб после раны вам заплатывать:
зеленый шум, гречишный мед...

Чтоб после плыть за теми зайцами,
для коих Богом – дед Мазай,
а после с барышней за пятаками
сидеть: очей не подымай!..

А после кратенькими ямбами –
как будто яблочко во рту –
кружиться с девками и бабами,
играть с детишками в лапту.

Но в струны, в их – уезда эн-ского –
трактирный, ярмарочный лад
вплетется голос горя женского
и снова – арф речных каскад...

По бездорожью, через месиво
болот, по весям, городам –
всех перечтет, кому невесело,
строка, открытая ветрам.

Кого не встретишь в ней, лишь искоса
взглянув – да в сердце поселив! –
ушел от барственного искуса
непереборчивый мотив.

Банкир, жуир в визитках новеньких,
князек, чей род уже увял,
и бледнолицые чиновники,
и краснощекий генерал.

Солдат, с недолею обвенчанный,
изба, с телятами закут,

и снова девки, бабы, женщины,
что плачут, жнут, рожают, ткут.

Хоть это, впрочем, не из лирики, –
как в нескудеющей руке,
гостят купцы, жандармы, клирики
в той гуттаперчевой строке.

В ее залиvistых трехсложниках,
в ее горошке-говорке –
на всех путях, на всех дороженьках,
на всяком струнном ветерке.

И чем ты меньше, тем заметней ей:
мотает волос паутин...
Над русскою энциклопедией
сиди, склоняйся до седины!

Над этой лыковой строчкою,
что бродит в парке иль в овсах,
над белой тонкою сорочкою
и жарким кумачом рубаш.

Ее тетёркины, да орлии,
да журавлиные крыла...
То кулики полощут горло ей,
то сыч, бекас, перепела.

Тут лопухи, да хмель, да ельники,
орешник, черная ольха –
шумят густые новосельники
угодий русского стиха.

Под стать погоде переменчивой
то нежат, то ладони жгут,
объяты рифмой недоверчивой:
авось под дождик убегут!..

Но, верно, надо быть волжанином,
чтоб, как бурлаки, бичевой
идти, толкать плечом израненным
ее к той мете ветровой!

28 февраля, 1 марта 1994

В парке

I

Повидайся со мною, родимая!

Н. А. Некрасов

Пыльная грива пырея,
стрекот в нагретой траве.
Где же прямая аллея
в легкой, пятнистой листве,

в ласковых солнечных бликах,
тонком жужжании пчел?..
Словно бы в дедовских книгах
встарь про такую прочел.

Сколько и впрямь благородства
в этих деревьях густых!
Сладостен воздух сиротства,
если сгущается стих.

Словно во сне это было...
Старые липы цвели...

Что же ты смотришь уныло,
не отводя от земли
опустошенного взора,
осиротелой душой

жаждая хоть разговора
с невозвратимой, чужой

этим порушенным стенам,
саду, где тлеет былье?..
Радуйся: нынче из плена
вырвалось сердце ее.

Чистые дальние дали
ей распахнули крыла.
Заперта в старом рояле
мука, что душу ей жгла.

Выцвели старые ноты,
тускло желтеют листы:
польки, кадрили, гавоты,
первого бала мечты.

Бравый армейский поручик,
вот уже – пан капитан...
Знать бы, что люто измучит:
холоден, жёсток и пьян...

Стужею дует от печки.
Песий за окнами лай.
В зябком жидовском местечке
сын наречен – Николай.

Это уж после – аллея,
русского поля цветы,
где, разрыдаться не смея,
прячешься маленький ты.

Смотришь, как долго из сада
в дом не уходит она.
Кажется, только и рада,
если – в тиши и одна...

О, повидайся со мною!

Если б под сводами лип
этой посмертной порою
вдруг повстречаться могли б!..

Столько не сказано!.. Столько
горя на сердце лежит...

Знойно, и пыльно, и тонко
луч на пырее дрожит.

13 августа 1994

II

Всё-то, как прежде, огромна
боль – и влечет этот сад.
Фортипианного грома
в лиственном небе раскат.

Это – гроза, огневица,
крупная капля дождя...
Плачь о земле, голубица!
Слышишь, как плачет дитя?

Скажут: п о э т... Но гордыне
имени нет в небесах.
Всё, что там знают о сыне:
кровью писаше...

«Писах!» –
всё, что там скажет о жизни
сам он, когда призовут
в лоно Небесной Отчизны
за изнурительный труд.

Всё, что там знают о бедной
матери в лунном дыму:
гордою музой заветной,
мертвая, стала ему.

Слышишь: по гриве пырея
щедро струится хрусталь.
Проливень!.. Тонет аллея...
Гаснет бескрайний рояль.

13 августа 1994

III

Вот и взрезает лопата
масляный глинистый ком.
Стеклами цвета заката
смотрит покинутый дом.

Так в одночасье сгорела,
лишь отзвенел сенокос...
Много крестьянки несмело
пролили жалостных слез.

Были, наверное, жутки
скрипы могильной земли?..
Лишь на четвертые сутки
сын прилетел издали.

Чаял – на сестрину свадьбу,
думал – на праздничный пир...
Но обминают усадьбу
благость, отрада и мир.

В старенькой церкви отпели.
Толстые свечи зажгли.
В темное платье одели –
даром что липы цвели...

Нет, не видала поблажки
в истовой жизни своей.
В ангельских ризах ромашки
шли до кладбища за ней.

15 августа 1994

IV

Ярко блестят на лопате
влажные комья земли...

Сладко на знойном закате
поздние липы цвели...

Это видение длится,
движется – нет уже сил!
Господи, даже проститься
грешному Ты не судил!

Так перепутал дороги,
чтоб разминулся он с ней...

Медленно тянутся дроги.
Кто же отгонит слепней

от вороного, в попоне,
в траурной сетке, коня?..
Как же вы скачете, кони,
к скату зеленого дня!

Что же вы гоните?.. К Волге?..
Пахотой – за небокрай?..
Вот уже птицы умолкли.
Разве вспорхнут невзначай.

Крестики алой гвоздики
на полотенца легли.
Страшные, быстрые миги:
гроб уже в лоне земли.

В тех недоступных глубинах,
в темной песчаной реке,
в нетях, пустынных долинах...
Вот и поплыл налегке.

Что́ в нем? Какая частица
боли, неволи, любви?..
Господи! Се – голубица
ищет ладони Твои.

16 августа 1994

V

Красною лентой гречиха
вьется по склону холма.
Вот оно, Господи, лихо:
ластится, сводит с ума!

Что ж ты кружил в Петербурге,
раб разливанных чернил?
С горюшком точно бы в жмурки
злую игру заводил!

То-то теперь не смыкаешь
ясных, исплаканных глаз.
Вот – на века – запеваешь
вечное – «Рыцарь на час».

Эту громаду печали.
Эту громаду любви.
Блещут морозные дали.
Звезды пылают в крови.

Это под стать Святогору,
это Добрыне с руки...
Слава сыновнему горю!
Слава безумью тоски!

Слава вам, жгучие муки!
Радуйся, отчая речь!
В небе великой разлуки
столько сиянья возжечь!..

Словно из бездны печали
выбросил вдруг океан
русские наши скрижали
про

погибающих стан.

15 августа 1994

ХП

*Сельцо Грешнево стоит на низовой
Ярославско-Костромской дороге,
называемой Сибиркой, она же и
Владимирка. Барский дом выходит на
самую дорогу...*

Н. А. Некрасов

Надо же: рядом курится
маятный тракт костромской.
Здесь же: душа истомится –
семь родников под рукой!

Рядом – бранятся возницы,
скачут курьер и жандарм.
Кто, точно вихрь, – из столицы,
кто – и к монаршьим стопам.

Кто – на торги, кто – от скуки
прочь от пенатов спешит,
кто – подневольной науки
грызть с малолетства гранит.

Кто – на сестрицыну свадьбу,
кто – поскучать на балах,
кто, промотавшись, – в усадьбу
важно сидеть на бобах.

Кто – угодить благоверной,
ленты привезть и чепец,

чтоб пошехонской губернии
моды задать образец.

Постные едут вдовицы –
исхлопотать пенсион.
Едут юнцы и девицы
к знатной родне на поклон.

Едет отец благочинный
по консисторским делам.
Смотрится в небо кручинный
сельский, на горушке, храм...

Мчатся почтовые тройки.
Валкий гремит тарантас.
Мчатся гусары с попойки –
На гауптвахту как раз!

Мчится скуластый заводчик,
сын солонцовых степей,
к Нижнему – без проволочек
сбыть полукровных коней.

Едет чахоточный ссыльный,
сгорблен от тягостных дум.
Едет, мощною обильный,
волжский купец-толстосум.

Едет лихой благодетель
трех малолетних сирот.
Едет дотошный свидетель,
что, не моргнувши, соврет.

Едет ни в чем не виновный,
веруя в праведный суд...
Тяжбу решить полюбобной –
двое индюшку везут.

Едет по службе урядник,
едет злодей-откупщик:
этот – глядит, как стервятник,
тот – словно куру в ошип

бросил – и вот мужичонка
Сивку уж свел со двора...
Едет с княгиней болонка:
так же глуха и стара.

Лаком сверкают кареты,
сеном пушится возок.
Едут на лето кадеты,
скачут полковники в полк.

Кто – за доходным местечком,
кто – и Отчизне служить...
Кто – за венчальным колечком:
вдового приворожить.

Дремлют в широком дормезе
пять перезрелых невест...
Всяк при своем интересе,
скачут, зачем и невесть!

Мчится взыскующий чина,
едет погибель казне.
Эка, дородный мужчина:
не дотащить шестерне!

Брызжет овес... Недотёпы!
Нет ли худее мешка,
задние лошади *итобы*
всласть нагуляли бока?

— ...Тпру же!.. – И свесились лапти,
в грязь покатился треух. –
Грабьте, родимые, грабьте,
в пух поистратился, в пух!..

К Керженцу, к сивому старцу
скорбного духом везут.
Может, нацедит отварцу –
беси-то все и помрут!..

Тянутся кромкой монашки –
сдобрила пыль клобуки.
Тяжки, ох, Господи, тяжки
смертные наши грехи!

Впору бы к Тихону, в пустынь,
надо бы – в Сергей-Посад! –
глазом, исполненным грусти,
на бедолагу косят...

Брички скрипят и коляски,
инда ж – такой экипаж,
что и не сдюжит огласки:
срам – или просто кураж?

Тащит поклажу Сибирка
на золотой Ярославль...
Выпадет бублика дырка?
Выпадет в небе журавль?

Едут надежды и слезы
северной, южной Руси...
Эх, покатили колеса
на беспредельной оси!

Тот – на разбой; на моление
этот, раскаянный раб...
Шалое, право, движенье:
гиканье, вскрики и храп.

Щелкают, свищут кнутами,
слышен и грохот цепей...

З д е с ь ж е – гремят соловьями
семь богоданных ключей.

Здесь же – обширного парка
плотно темнеет стена.
Разве березы неярко,
пего мелькнет белизна...

18—19 августа 1994

* * *

Всё судачат: какие деяния
положить – на какую из чаш?..
«Я пою тебе песнь покаяния», –
он промолвил, неправедный наш.

И кружит над Отчизною грешною
этот скорбный, мятущийся дух:
над ее широтою безбрежную
и над всякой из горьких прорух.

Над волнами ее перекатными,
стоном нив и покоем могил
веют ризы его: незапятнаны!
Он страданием их отбелил.

21 февраля 1994

1877 год

Пусть тетрадка выпала из рук –
рано ты ликуешь, преисподня!
«Я трудом смягчаю свой недуг», –
начертает он еще сегодня...

Он споеет нам «Баюшки-баю»,
слыша голос матери усопшей, –
песню предпоследнюю свою
выпуская из руки иссохшей.

Он споеет, как мельниц жернова
хрустко перемалывают кости,
сыпля не мучицу, но слова, –
золотом наполненные горсти!..

Скажет, что, увы, на костылях
в этот раз к нему явилась Муза,
как к тому, кто век свой в бобылях
прожил, сам себе теперь обуза.

Сжалилась? Печали утолить
прибрела?.. В широкой мгле рассвета
горбится... Но как же – позабыть
в вечность уходящего поэта?

Радости не много принесла
в темном, поистрепанном подоле.
Тоже, впрочем, жертва ремесла:
хворь – не хворь, а точно баба – в поле!

Он смутился: ведь *читатель-друг*
не поверит, что его работа
втайне от беснующихся мук
длится год, и год, и вновь полгода...

Только тень осталась от него.
А от жизни – считанные миги.

«Пододвинь перо, бумагу, книги!» –
жарко просит друга своего.

Господи, откуда ж эта страсть
в трижды обреченном человеке –
хоть бы звук у музыки украсть,
хоть бы луч – под сомкнутые веки!

А шагал, бывало, вдоль стерни,
целясь из охотничьей двустволки...
На селе – туманные огни.
За сугробом – спугнутые волки.

Видно, ближе к лесу отошли,
отдавая звездную дорогу
путнику в серебряной пыли,
что теперь ступает прямо к Богу.

Песню про *венчанного* царя
сложит он – про грешного поэта:
как, о русском рабстве говоря,
он стяжает ныне царство света.

Он простонет: тяжело умирать!
Он попросит у земли прощенья.
Не скучай, полночная тетрадь:
вот еще – клочок стихотворенья...

«Я трудом смягчаю свой недуг...» –
пишет он рукою терпеливой.
Смерть – едва скрывает свой испуг.
Жизни – не бывает несчастливой!

В час, когда не слышно ничего,
кроме целый мир объявшей боли,
так вот и приходит торжество
творческой, всевластвующей воли.

27 февраля 1994

Неоконченная поэма

«Я трудом смягчаю свой недуг...»
Сколько ж надо свежей силы духа,
чтоб расслышать этот мерзлый звук:
степь... Сибирь... бродяга... и разлука...

Как идет покинувший острог,
а земля без милых-то – пустая:
лишь зверок, что до смерти продрог, –
согревает в шапке горноста...

Всё кружит в тени от деревень,
крестится на плачи колоколен.
Ох, который год и горький день
тот острожник безотрадно волен!

Никого он вроде не убил,
просто он – из шалых, бесталанных.
Он с волками волком не завыл –
и бедует на ветрах буранных.

Прошлого приветные черты
тают у степного небокрая.
Редко средь студеной пустоты
прозвенит кибитка удалая...

Хорошо бы – это досказать:
как в степи, без племени и роду,
мается, крадется, словно тать,
плоть от плоти... кровная народу...

Одиночка он иль миллион
вон таких, отколотых, пропащих?
То ли несчастливо был влюблен,
то ль быть в нетях – и любви слаще?..

Сколько их петляет меж дорог,
стонет, замерзает в чистом поле, –

что бегут на волю, как в острог,
иль в остроге обретают волю?..

Чье-то одиночество в степи
сводит душу, заметает снегом,
словно сам он – Боже, укрепи! –
был вон тем безродным человеком.

Словно в черной круговерти бед
он и сам-то правый путь утратил,
этот умирающий поэт
подле угасающей тетради...

Из нее развязки не узнать:
горстка строк – как бы озимых зерен...
Как он так сподоблен – сострадать?
Как он, барин, милый барин, болен!

Как прозрел: в распыл идет народ,
злой ли рок или души избыток?..
В поле – буря снежная поет,
саван ткет из сивокудрых ниток.

В доме – сонь. Горячий карандаш
замер в леденеющей деснице...

Тихо отлетает «Отче наш...»
к смугло-золотеющей божнице.

2 марта, 21 июля 1994

● * * *

И вызвал я родную из гробницы...

Н. А. Некрасов

Она придет на зов последний,
и он услышит сквозь пургу
тот голос тихий, голос летний:
«Пора! Ступай! Я помогу...»

Она придет сказать, что вовсе
не так страшна воровка-смерть,
поторопить его: «Готовься!..» –
и смертный пот со лба стереть.

Она придет, ему на темя
положит руку и шепнет:
*« Ты близок к небу – смерти время!
Не труден будет переход...*

Твой переход от вдохновенья,
каким живешь, полуживой,
в долины, где не молкнет пенье,
как в детстве... в ивах... над рекой...

И не заметишь ты разлуки.
А впрочем, это ты постиг,
когда писал «Мечты и звуки».
Вот он, поруганный твой стих...

Еще юнцом, еще дитятей,
мальцом, сбежавшим со двора...
А гроб?

Не бойся, это – дятел.
Он всякий день стучит с утра.

О, нет, твой дух не заколотят,
не заточат его во льды,
поскольку ты, как боль, бесплотен,
поскольку к небу близок ты!»

21 августа 1994

Похороны

1

Не бойся вьюги навесной,
снегов пуховых груза:
я схороню тебя весной, –
ему сулила Муза.

Какие страшные слова
в постель его летели!
Ушла в подушки голова.
Он спит, как в колыбели.

Представьте: в тишине ночной
свеча. Мерцают склянки.
И этот голос молодой:
«Я схороню тебя весной», –
седой, в лаптях, крестьянки...

2

На этот раз ведь обманула
и до весны не довела.
Сама в сених его уснула.
Сама, как смерть его, бела.

Еще очнется: шея – лебедь,
мониста, алый сарафан.
Но это будет все же лепет:
почти любовь, почти дурман...

3

И, правда, славно – умереть,
в сырую норку юркнуть...
Его торжественная смерть
плывет по Петербургу.

Прибоем – колокольный звон.
Прибой толпы горячей.
Плыла Россия под уклон
красавицей незрячей.

20 февраля 1994

Вместо послесловия

Таким ли был народ, иным ли,
чем он об этом прорыдал?..
Пред нами лик его задымлен –
приметен только пьедестал.

Задымлен лик того народа,
чьё сердце – з о л о т о, чей вид
так прост, как русская природа:
лесок, овраг, а дух – летит!..

Но коль подумаешь о милых,
ничуть не знаемых в лицо, –
густеет рожь, а на могилах
цветет Некрасова словцо.

Манит проезжая улыбка,
блестит соленая слеза.
Кричит ямщик, воркует зыбка,
пылает девичья краса.

Селенья... Чем вы знамениты?
Мороз, рекрутчина, страда...
Румянец русской Афродиты
как разглядел он в вас тогда?

И тем подобен он Гомеру,
певцу ахейн, мудрецу,
что знал возвышенную меру
и к богоравному венцу

возвел наш род...

И вот в страданьи
ты зришь не ярый гнев богов,
но знак охранной Божьей длани,
кровавый, тяжкий, но – Покров!

В сыром тумане нависает,
при первом солнышке горит...
Не знаем сами, как спасает
тот стих, что сердце бередит.

Он добр, язвителен ли, строг ли,
но в нем навек впечатан лик:
незримый нам наш тайный облик
хранит поэзии язык.

Таким ли был народ, иль хуже, —
едины: кто его создал,
и кто, стучась в мирские души,
возвел его на пьедестал!

22 февраля 1994

ИЗ КНИГИ

"Грибоедов"

От автора

<...> «Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок!» – воскликнул Пушкин, простившись в Грузии с прахом этого «человека необыкновенного».

Я решилась вообразить эти отсутствующие записки, как и другие страницы погибшего личного архива бессмертной комедии «Горе от ума». Мой роман в стихах имеет подзаголовок: «Хроника любви и смерти комедиографа, фортепьяниста и дипломата, поведенная им самим 170 лет спустя в Москве и родовом смоленском селении Хмелита». Отсюда ясно, что поэтическое повествование ведется от лица самого героя, который, в частности, пишет не дошедшие до нас письма к друзьям... <...>

Вместо предисловия

Так отражён в ампирных зеркалах,
в седых кристаллах допожарной люстры,
что мы, хотя приметливы да шустры,
немногое прочтем в его чертах.

Что прядает за стёклами очков?
Скорбит – за алебастровым жилетом?..
Сколь хладен!.. Да ему ли быть поэтом –
зеркальщику московских чудаков?

Ему ль трястись на траурной арбе?
Чрез весь Тифлис – да на лафете пушки?..
Ужель е м у богоподобный Пушкин
завидует в ненастливой судьбе?

4 декабря 1997

В усадьбе

I

Он не был здесь – о, сколько мёртвых лет!
А без него остались от Хмелиты²⁴
неправильно расставленные липы –
былых аллей неизгладимый след.

Былых дриад вечерний перелёт,
и переплеск, и звон в ветвях дубовых.
Но здесь досель ещё гнездятся совы
в глубоких дуплах – жёлтые, как мёд.

И рыжий ястреб, взмыв на провода,
наохленным глядит Наполеоном.
И под жемчужным, сивым небосклоном
черней прогал парчового пруда.

Но жёлтый ирис, распушив шелка,
встаёт из вод – как тонкий луч Востока,
припрятанного, видимо, глубоко –
под слоем ила, глины и песка...

2 июля 1998

II

Но он пьянит, старинный аромат
цветущих лип. Струит благоуханье
жасминов белокрылое сиянье,
и полон тайны опустелый сад.

А голубой задумчивый дворец
глядит устало – словно после бала...

²⁴ Хмелита, Вяземского уезда Смоленской губернии – родовое имение Грибоедовых.

Уже, пожалуй, вечность миновала,
ан спит в угольной комнате юнец!

Скользит вдоль окон пламечко свечи:
идут будить?.. Зачем? Совсем не к спеху.
Он даже смерть, как малую помеху,
быть может, примет: то-то, москвичи!

Он спит и грезит: вот шафранный луч
пылает в летних куцах девясила...
Подумать – сколь полуденная сила,
сколь прян цветок, сколь царственно живуч!

Напоминает... Персиянский рай?..
Триумф?.. Иль месть за горечь Туркманчая?..
Напоминает... Что?.. Не различая
судеб, хранит его смоленский край.

Хранит юнца... И даже в жгучий зной
несёт сюда днепровскую прохладу.
И теплит в храме тихую лампаду
пред Скорбным Ликом в ризе золотой.

Хранит тот промельк, ту игру зеркал,
усмешку – иль причуду светотени
там, где сырое облако сирени
тяжёлый шмель несыто раскачал.

Хранит тот абрис, тот смолистый кок,
блик от чела... То скроет в зверобое,
а то в герани – око голубое
мигнёт: в Москву он больше не ездок!..

То спрячет в тмине, то во мгле древес,
а то в укромной комнате угольной –
на самом донце этой жизни дольней,
приснившейся насельнику небес.

11 июля 1998

Рояль в Хмелите

I

И вновь бессмертен предвечерний час,
когда летят в предчувствии разлуки
Шопена дошопеновские звуки –
тот полупольский светлый русский вальс.

Прощальная улыбка, легкий вздох,
минувшая минутная влюблённость,
тень сожаленья – или отстранённость
от всех пустынно пройденных дорог?

Как будто и мазурка в нём горит –
короткое взметнувшееся пламя –
и зеркал, залитые огнями,
как пруд, что белой лилией расшит,

и вот из яркой солнечной воды
в сырую тень, подёрнутую ряской,
скользишь в челне, а точно бы в салазках,
сквозь сонно-снежно-белые цветы...

Как будто бы родной приветный взгляд
так устремлён из креслица в гостиной,
что то ли ты готов идти с повинной,
то ль пред тобой кто повиниться рад.

Само прощенье, кроткая мольба,
задумчивость печали беспричинной:
пока лишь в шутку хмурится судьба,
дразня летучей горечью полынной.

И вдалеке ещё тифлисский зной
и сень святой обители Давида...
Крапивой опоясана Хмелита,
ромашками, геранью голубой.

В аллею лип струится этот вальс
и натекает в ласточкины гнёзда.
Всему живому поровну он роздан
навек, в утешенье, про запас.

Само мечтанье, ласковый покой,
почти блаженство мелодичной грусти,
которой так чарует захоlustье,
пусть даже рождена она Москвой...

II

А у стены облитый молоком
пушится куст столетнего жасмина,
польщенный этой музыкой старинной,
поющей иль тоскующей о ком.

Танцуют ли её или таят
для скромного сердечного признанья? —
но катится волна благоуханья
из сада в дом, из дома — в старый сад.

Не звук, но световая акварель
разлитых по лугам вечерних красок,
когда едва жужжит усталый шмель,
плетётся вслед за овцами подпасок.

И легконогой трясогузки скок
на сине-фиолетовой дорожке —
простой клочок всё тех же нотных строк,
оброненных в крапиву понарошке.

И вот уже закатное окно
слепит сусальной жидкой позолотой.
Но так случится лишь с последней нотой,
и станет слышно ос веретено.

А солнце в густо-розовый туман,
оплавясь, с неохотою садится,

и к ночи слаще пахнет медуница,
заслушавшись в усадьбе фортепьян.

Как будто реют розы лепестки
иль бабочки от клавишей вспорхнули
и в сумерках июльских потонули,
коснувшись теплой девичьей щеки.

Как будто бы серебряный ручей
на камушке смеётся или плачет...
Тот вальс – он ничего собой не значит,
морочащий, нечаянный, ничей.

Но пуст язык тяжеловесных слов,
что вязнут в глине, поспешая следом...
«Да кто же сочинитель?» – «Грибоедов».
Проезжий. Заглянул – и был таков!

И ускакал в полуденную даль,
к сладкоречивым слугам Магомета,
к садам Саади... Уж какое лето
он сам поёт, разохшийся рояль!

Свеча роняет слёзы на паркет,
под ветерком вздыхает занавеска,
и гаснет влажный лепет перелеска,
в котором заблудился лунный свет.

И засыпаешь, чтоб очнуться вновь
под эти омывающие звуки,
учась меланхолической науке,
где так нежна, безропотна любовь.

19—20 декабря 1997

В Москве

I

Московской молви прихотливый строй.
На ситном хлебе – серый жемчуг соли.
Как славно – по любви иль поневоле
омыть свой слог колодезной водой!

От всех ключей, что на Семи Холмах,
черпнуть крестильной, живоносной влаги,
а там уже спросить себе бумаги,
да перьев, чтоб хрустели на зубах...

II

Пускай вовсю французыт на балах
последыши осьмнадцатого века,
славянской речи солнечное млеко,
как мёд, густеет на его устах.

А перья, точно лебеди, белы,
а мысли, что молонья, нынче быстры,
и сыплются стихи, как будто искры,
пекучи, простодушны и смелы.

Кто начертал – и спрятался впотьмах,
вошёл без стука да играет в жмурки?
Созвездие манёвров и мазурки
в кавказских ли привиделось горах?

В Москве ли, иль в саратовской глуши?
По всей Руси – *знакомые все лица!*..
Строчит: «Едва ли сыщется столица...» –
а сам спешит в чужие рубежи.

12 декабря 1997

Низкий жанр

Не много я комедию ценю.
Ведь площадная всё-таки потеха...
Однако ж Данту было не до смеха,
когда ступал по адскому огню.

Но я постиг, сколь он коварен, смех.
Зато легко тебя венчает слава,
не зрящая, что в том лишь и забава,
что над грехом теперь смеётся грех.

И так ли низко – принудить его
от самого себя, смеясь, отречься?..
А впрочем, не желал бы я увлечься
сей модной гранью дара моего.

Куда приглядней – в пышущий Аид
с божественным Виргилием спуститься.
Так нет: в Замоскворечье прокатиться
зовут!.. Да кто ж мне, грешному, велит?

Почто, пленившись выпрненным юнцом
иль теми: «Ба! знакомые всё лица», –
изволил скоморохом нарядиться,
в колпак шута с постылым бубенцом?

Почто же так?.. Ужель, пустой Москвой
измучившись, изранившись, пресытись,
не въеду, гордый, одинокий витязь,
туда, где дух витает неземной?

О, да! – где хочет, рыщет он... А всё ж
не мыслю я судьбы моей развязки
без Дантовой неугасимой краски
и ада окровавленных рогож...

13 октября 1998

Предсказание

*На днях ездил я к кирхгофие гадать
о том, что со мною будет...*

Грибоедов (из письма)

А странно ж: переводится К и р х г о ф
столь мирно, столь приветно: «двор церковный».
Но гарпии в сей дамской родословной
да демоны, что с адских берегов

слетелись и уселись вдоль Невы
на каждой башне и на каждом шпиле!..
А мы?.. Должно быть, Бога позабыли.
За то ж и не сносить нам головы!

За суезнание, дерзостную блажь
заглядыванья в то, что сокровенно...
Живой, а зрю себя добычей тлена.
А может, мёртв – и зыблюсь, как мираж?..

О, как же вязнет в мыслях и в ушах
седой колдовки леденящий шепот!
Гремит, как бы подков пустынный грохот...
И в сердце – страх; что яд цикуты, страх.

Молиться Невскому!.. Святый хранитель мой,
укрой меня!.. О Спас Льняное Око!
Ведь Невский-то, как раз когда с Востока
спешил на Русь, то гробовой доской

почтён был в одночасье... Каково?
С Востока!.. Вот и я туда же еду –
на злую ль смерть, честную ли победу? –
я, во крещение чадушко его!

Ужели мне начертана стезя,
подобная стезе сего Святого,
нетленного воителя Чудского?
Мне, грешному?.. Да быть тому нельзя!

24 октября 1998

Кавказ. Первые впечатления

Имя Е. ещё ужасает..²⁵

А. С. Грибоедов

Да, он жесток. Конечно, он жесток.
Но он и добр... Зело привычен вешать?
Но мне ль судить? Такой ли я невежа?..
К тому же, это – Азия, Восток.

Язык бича понятней дикарю,
чем глас рассудка, пени, уговоры.
Жесток сей мир. Суровы эти горы.
Но видишь: я трюизмы говорю.

Попригляжусь, размыслю, *посравню*
живую явь с баюкающей книгой.
Нет, не сочту я доблестью великой –
предать аулы дочиста огню.

С другого ж боку: тут любой малец
так и на свет рождается: с кинжалом.
Что ж выбрать меж булатом и оралом?
Быть стрижену – иль споро стричь овец?

Как согласишь законы здешних стад
с гуманною военного наукой?
Ужель не бился он над этой штукой,
старик наш, сивый римлянин, солдат?

«Кавказа бич»... Но так бывает мил!
Сколь русский!.. Сколь чарующий рассказчик!..
Я тут приладил от патронов ящик
взамен стола. Едва добыл чернил.

²⁵ Подразумевается А. П. Ермолов, часто называемый также «наш старик» (см. подлинные письма Грибоедова).

Так что не жди пространныго письма.
Пообживусь – так стану говорливей.
Одно: я ничего не знал красивой,
чем здешних гор заснеженных чалма...

Дай срок – авось и я *завьюсь в эфир*:
«певец во стане...» – как Базиль Жуковский.
Жаль, мой Пегас – тяжеловоз тамбовский.
Но рад ему в походе бомбардир.

Да я и сам бодрее день ко дню.
Нимало не грущу по Петербургу.
Завёл кальян, халат, черкеску, бурку.
Вот разве что с чалмой повременю.

11 октября 1998

Письмо с Кавказа

Да, я и сам охотно назову
всё, что моей комедии несродно.
Ведь я писал *свободно и свободно* –
не так, как ныне я, увы, живу.

А как живу?.. Прилежного труда
нет в горском, нет в бивачном расписанье.
Езда, пальба, донцы, магометане...
Ликуй, однако: наша – Кабарда!

Пожалуй, нашим будет весь Кавказ.
Ты говоришь – читаешь *Вальтер Скотта* ?
Но здесь война – звериная охота,
без всяких романтических прикрас.

А этот бард, шотландский чародей,
ты знаешь ли, кого он мне напомнил? –
О, я б сейчас пустой бокал наполнил! –
Певца войны, вина, ланит, кудрей!..

Давыдова б, Давыдова сюда!
Нам недостача *рыцарственной краски*,
что в нём с избытком... И – не для огласки:
мне так страшна карателей страда.

За казнью – казнь... Вот на глазах отца
в чалме, в особой: он пришёл из Мекки –
двух сыновей... О, плачьте, человеки,
коль в вас ещё не выжжены сердца.

Двух лучших из народа своего...
Дрались, как львы. Склонить бы их прощеньем...
Ужели Марс велик одним отмщеньем?
Но *наш старик*... И те, льстецы его...

Гордись, Ермолов! И рыдай, поэт.
Но – чу! Опять вскипела перестрелка...
Сам посуди: какая ж тут отделка!
Здесь кровь и кровь. Реляции побед.

А всё в глазах: не столько и сыны
(красавцы! Лук и стрелы за плечами...),
как их отец... Гляжу е г о очами.
Уж месяц, как дурные вижу сны.

А Джамбулат?.. Натуры торжество:
храбрец, стрелок, орёл, артист, наездник!
Что ведал он? Ему бы только песни
слагал аул про подвиги его...

Ему бы только дев обворозить
с глазами точно чёрные черешни...
Но как стоял под залпами!.. Небрежней
неможно буйну голову сложить.

Но как же быть? Ужель послать в Лицей
вот эдакого барса Джамбулата?
Свята ли Русь, безвинно ль виновата,
а жаль черкесских юношей-князей!

Вот то-то – что любуюсь на врага!
Невместно бы... Но сладостна отвага.
И кровь твоя бурлит уже, как брага.
Вести б её, лихую, в берега...

В Чечню! в Чечню! – трубят уже поход.
И, право, – надо. Верь на слово: надо!
Ведь, что ни шаг, станичникам засада:
подобен рыси, бешен сей народ.

Нет от него покою Кабарде;
час от часу наглеют закубанцы...

Ты мне прислал пленительные стансы.
Но видишь, на какой мы тут черте.

Колоть и вешать. Вешать и колоть!..
А сам-то край, в цветах, подобен раю.
На Господа, тоскуя, уповаю:
спаси, умиლოსерди нас, Господь!

А что, как впрямь наместника сменить?
Он мне отцом... Кумир! И взыскан щедро...
Но коль порою стонут сами недра –
невмочь им кровь точащуюся пить?

Давыдову ж Денису передай,
что жду, что рад обнять его, как брата;
что мыслю: после будет и расплата
за сей, едва ли замиримый, край...

Скажи: его признала б Кабарда.
А те, герои петли да порубки,
не стоят даже выкурки из трубки
его... Такая, видишь, ерунда!..

Завлѣлся я... Уж солнце – на закат...
Пора в седло. Лихие тут дороги!
Забудь мои нескладные тревоги.
Ропщу, а сам уж – полуазиат.

Брюзжу: наводит ужас *наш старик*,
как вдруг взмолюсь: продлись, очарованье
нешадной длани... Нас ли – на закланье,
Чечню ль? – У Бога выбор невелик!

Но чем горжусь? – как в зыбке, я в седле:
ловлю ворон, дремлю себе, читаю
и так от разу в раз не замечаю,
по сколь отвесной съехал я скале.

А там и пуля трутнем прожужжит;
как пять веков тому, стрела просвищет...
Да, тут немало для мечтанья пищи,
будь я тот бард иль выпренный пиит.

А смерть меня пока лениво ищет,
нечаянною милостью томит...

9—10 октября 1998

Армянский монастырь

«Что роза между терний – Эчмядзин».
То не мои слова, а патриарха.
Восточной ночи теплый чёрный бархат
здесь не разрежет криком муэдзин.

На весь Кавказ колокола звонят!
Зане сию суровую обитель
на чистой длани держит Вседержитель
и русский окровавленный солдат.

17 октября 1998

Чацкий, Фамусов и другие.

I

Не ждали, чтоб герой мой был таков...
Судачат: мол, умом не поделился
я с ним, хотя как раз остепенился
и только что остался острослов...

Что Фамусов мой – супротив того –
не глуп: какие сыплет изречения!
По меткости, по здравости сужденья
обскачет, мол, героя моего.

Что Фамусов... пускай он крепостник,
но это с ним я не расчёлся славой:
природною иронией лукавой
и всем, чем блещет щедрый наш язык.

И бодр же духом!.. Как тогда вскричал
в сердцах: «В деревню, к тётке, в глушь, в
Саратов!»

А т о т ?.. Таких домашних супостатов
ужели впрямь я на Москве встречал?

Где я встречал таких?.. В себе. Везде,
где есть к судьбе Отечества пристрастье, –
хоть сам давно держу себя во власти
холодных дум о пылкой суете...

II

Да, я отстал от шепотов, кружков,
от выспренных таинственных собраний.
Чем кончится, то ведомо заранее.
Побольше дела бы, помене слов!

Своим бы занялся ремеслом
поэт и юный прапорщик... Да войска

прибавить бы в тот горский и геройский
немирный край... Неравны мы числом!

Ан мыслят повернуть на Петербург
кавказский корпус!.. А Иран? А Порта?..
Нет, мой расчёт совсем иного сорта.
А Брут их?.. От тщеславия разбух.

Всё в эмпиреях реют... Кабы смех
им схлопотать себе, когда б не петлю!
Не внемлют мне. И я хандрю и медлю:
и грех бежать, и оставаться грех.

Авось и мйнет?.. Пошумят – и врозь...
Ужель средь них Одоевский мой милый?
И ты, Вильгельм, мой пылкий и унылый
певец, наследник шиллеровых грёз

о подвигах, о дерзком мятеже,
Мооре, Телле, храбром Валленштейне...
Туман в умах – что марево на Рейне.
А дороги они моей душе!..

III

Но Репетилов будет посильней:
вселенского лазутчик опошленья!
А что́ верней и злей для одоления
и чистых чувств, и пламенных идей?

Не рад ему. Не рад я и себе.
Да как же быть, когда промчалась юность.
И я ль – в мечте, мечта ли обманулась
во мне, – покорен я своей судьбе.

Но пусть меня отринет каземат
и для иного поприща я создан,
мой путь расчислен по кровавым звёздам:
вон – над кибиткой мёрзлую висят!..

IV

Уж не вскричу: «Карету мне!..» – свой гнев
являя миру. Толку – на полушку!..
А не призвать ли моего Петрушку?
Опять в сениях читает нараспев!

И в голос, и, похоже, со слезой...
Фаддея!.. Ну и книжица!.. «Сиротка»...
И сам-то смотрит жалостно и кротко:
нечёсан, с драным локтем и босой.

Уж нёшто я... Уж я-то – крепостник?..
А впрочем, лучше б у него, у Сашки,
спросить. Небось ответит без промашки,
кто мой герой... Уж он меня постиг

похлеще критик, помудрей похвал.
Да на беду же пристрастился к чтенью.
Намедни брякнул: по его-де мненью,
Фаддей изрядней слог свой воспитал.

Душевной, мол. И правду, мол, речёт.
Не умствует, не зол, не зубоскалит...
Да, мой Петрушка вмиг перенахалит
того...

А вдруг он, точно, – из господ,

мой тёзка?.. Это ж надобно иметь
саму фамилию – что насмешку: Грибов!²⁶
А как в пути, – всё стонет от ушибов
да тряски... Нет, куплю, пожалуй, плеть!

Всё хмурится... А нужен ли в сей час
в сениях – зоил, присяжный альманашник?

26 Грибов Александр Дмитриевич – молочный брат и камердинер
Грибоедова; погиб вместе с ним в Тегеране.

А всё ж куда мне без такого Сашки?
Ворчит, а рад, что скоро – на Кавказ.

Господской подражает он хандре.
Лакейскому, дурак, привержен слогу.
А как впервой подъехали к Моздоку,
изрёк: «Ан горы, барин, – в серебре!»

Небось тишком кропает и стишки,
небось, читает кучерам в трактире?
Ох, сколько же смешного в этом мире!
Опричь... Опричь сей хворости – тоски...

18—19 октября 1998

V

А Чацкий... Ох, намаясь же я с ним!
Тебе ли, друг, казнить его пристало?
Не так, мол, повернулся среди бала,
не то сказал... и поделом гоним!

Мне жаль его. Мне больно, коли спесь
чиновная, какая ли иная,
состарясь, поздней мудростью блистая,
не зрит, сколь чист и сколь звенит он весь!

Тугой струной!.. С безумством и с умом,
с презрением, терзаньями, любовью...
Едва вбежал – и ты уж, по присловью,
с ним, как с собой, – не правда ли? – знаком.

Как на ладони весь... И то смешно?
И мне – смешно! Как вдруг, поверь, завидно...
В нём всё на форте... Всё, что было слитно,
а нынче в нас, увы, раздроблено:

любовь и служба, острота и честь,
и ревность, и отчаянная нежность,

и гордость, и бесславья неизбежность...
Нет, не могу на прозу перевести!

Но защити героя моего.
И так толпой он оскорблѣн трикраты.
Они, небось, забрили бы в солдаты
сей огонь. Чтоб горец погасил его...

Предвижу: Чаадаев рот скривит,
а то и Пушкин вмиг созорничает...
Но автор... в нём не то чтобы не чает
души, а счёт ведёт его обид.

Обид героя, что свежее всех,
всех нас, уже пригасших, остужѣнных
и тем, быть может, малость и смущѣнных:
и вот вам смех!.. Над невозвратным смех!

Затем, что все мы Фамусовы. Так!
Отчасти... Не маши рукой. Отчасти!..
И в том, пожалуй, бережное счастье
для нас, байбаков, Гамлетов, бродяг.

26 октября 1998

* * *

А Пушкин?.. Знать, себе он на уме.
В глухом сельце врачует сердца раны,
Назоном бредит да строчит «Цыганы», –
спасен в своей михайловской зиме!

Спасен ли?.. Хоть ему не по нутру
мой Чацкий: мол, ребячится нелепо, –
да вот беда: слепа фортуна; слепо
в нас тычет перст. И это не к добру...

И бегай ли к сей Пифии – Кирхгоф,
не бегай ли к туманной сей Кассандре,
а гибель тайно ждет тебя в засаде,
подстережет средь битв или пиров.

И станет ум твой *горем от ума*,
понеже сердце болью уязвимо...
Но как же славно: снег и запах дыма!..
Храни поэта, русская зима!

18-19 октября 1998

Обручение

*Приехав в Грузию, женился он на той,
которую любил.*

А. С. Пушкин

Какая же из девочки жена?
Я для неё – подобье падишаха,
избранника Зевеса иль Аллаха...
Не знает, сколь пуста моя казна.

Все жемчуга моих славянских слов,
все яхонты сердечных ран погасли...
Кто ж положил сего младенца в ясли –
земную – иль небесную – любовь?

Я стар. А это нежное дитя?..
Сама со мной состарится до срока.
Но до чего же сердцу одиноко!
Бежать ли – иль посвататься шутя?

Пожалуй, погожу... Но как вчер,
послушная, со мной за фортепьяно,
взяв до-диез, она взглянула странно...
Едва ль не страстен этот детский взор.

Поймёт ли что во мне? Иль так простит
грядущие, бывшие прегрешенья?..

Заплакала в минуту обрученья.
Куда веду? К венцу? А может, в скит?

Куда зову? В цветущий вертоград?
К руно златому? К чашам Цинандали?..
Как знать? Темны небесные скрижали.

Сколь яро звёзды здешние горят!

21 сентября 1998

В Сионском храме

...И всё же обручальное кольцо
я обронил при таинстве венчания.
Не тайна – сущность предзнаменования...
Я побледнел. А Нинино лицо

светилось тем же светом. И свеча
горела ровно... Дóлжно прилепиться
к жене... Она же, точно голубица,
сама приникла, грудью трепеща...

В сей час надежд, в волнении, едва,
едва ль я слышал батюшки вопросы
о верности... В очах блеснули слёзы,
что были горячее, чем слова.

«Да!..» – и в беде, и в радости... В б е д е –
вот чтó насущней в ласковом согласье,
с каким она кивала, точно счастье
ей мнилось и на гибельной черте.

И я тогда задумался: дитя?..
Дитя ль она?.. А бабочка – дитя ли,
когда танцует, точно в карнавале,
на огонь палящий радостно летя?

Иль, может, здесь самой природы зов –
душа любви, что, возраста не зная,
всё – молодость, всё – простота святая,
не ведает, сколь путь её суров?..

Не хочет ведать! Ибо изменить
своей натуре жертвенной не в силах.
И мало ль вдов встречал я на могилах –
столь юных, что... Но я утратил нить

рассказа, сколь торжественно текло
в Сионском храме то богослуженье
в честь нас... Кадил душистых мановенье,
лучи лампад... Рубинами стекло

переливалось... Сколько свежих роз
цвело в руках у девушек-подружек...
Но знаешь, я невольно занедужил
туземной лихорадкою. Всерьёз

благие силы мною занялись:
и хворь, и свадьбу – всё пустили в дело,
столь разнородно, споро да умело:
о, только б не покинул я Тифлис!

О, только бы помешкал... А жена –
и рада, и, в мечтах своих, не рада.
Зовёт на обсуждение наряда:
что пери, жаждет быть обряжена,

дабы и ей, посланнице, не в грязь
ударить перед розами Ширази,
но лилиею снежного Кавказа
предстать, Христу в дорогу помолясь.

Мы выступим на мулах и конях...
Её манят чужие, за Араксом,
края... А я учу: «Не будешь плаксой?
Не боязно ль?..» Но побоку ей страх!

Ведь гордость-то грузинская... Она ж –
княжна, из рода славного... Однако,
и я, болярин, жалостного флага
не выброшу... Да здравствует кураж!

Сияет... Заглянув в моё лицо,
порою, впрочем, словно вызнать что-то

желает... И недетская забота
темнит ей лик... А брачное кольцо

вертит на пальце, будто хочет снять,
оно ж – никак... И говорит улыбкой,
что не было у Господа ошибкой –
нас пред дорогой дальною обвенчать...

19 декабря 1998

Сын (Два голоса)

I

Что вижу я?.. Столь малый мотылёк
летит сюда, едва покинув кокон,
а там, за синью предвечерних окон,
вослед ему тоскует огонёк.

Как будто бродит тонкая свеча,
ища впотьмах иголку в душном сене,
и женские в окне стенают тени,
ломая руки, ластясь, трепеща.

А вот над грудой кружевных пелён,
над их пустынной снеговой пеной –
жена ль моя?.. Пушинкой во вселенной
тот мотылёк... Он ветром отнесён.

Тишайшим ветром: в розовых кустах
дремал неслышно, да вспорхнул внезапно...
А Нина... Как была она нарядна,
с той жёлтой розой в чёрных волосах!

Зачем же, право, жёлтые цветы
она вплела, в день свадьбы, в змеи-косы?
А я глядел на эти злые розы,
и гнал я суеверные мечты.

Цветы разлуки... Но весёлый бал,
но свадебный шумноголовый ужин!..
И мнилось: я опять с фортунной дружен,
и гордо кахетинского бокал

я осушил за юную жену,
что, даст Господь, и принесёт мне сына,
наследника, грузина-славянина,
умом – в отца, красой – в мою княжну...

Не он ли, кроха, уж не он ли – нет! –
летит сюда, листочком олеандра
прикрыт?.. И кличет... кличет А л е к с а н д р а,
«Я Александр...» – лепечет мне в ответ.

Не говорит – а словно лунный свет
звенит в ушах серебряно, стеклянно,
звенит в душе... И сладко мне, и странно,
и не пойму, что значит сей привет.

И кто он – тёзка?.. Слишком мал, чтоб быть
Одоевским, Бестужевым... О, кто ж он,
крылатый кроха?.. Сколь неосторожно
он взмыл ко мне! Недолго загубить

в моих прохладах семечко души,
едва рождённой, точно ли – рождённой,
и вот уж в вечность синюю влюблённой...
Кто ж это? Нина, шепотом скажи!..

II

*...ему дали имя Александр в честь
его бедного отца.*

Н. А. Грибоедова

«Как рассказать?.. Он прожил только час,
мой сын, дитя жестокого страдания.
Напрасны были наши упования:
без слёз, без крика вздрогнул – и угас.

Как будто пóзван бедственным отцом,
моим благословенным Александром,
в тот край, где райский сад – за райским садом...
Столь мал, но, право, был уже лицом

похож, похож... О нет, не на меня,
а на того, кто на́ небе... Малютка,
он жил лишь час... Какая злая шутка!
О, смех небес!.. Он не прожил и дня!

Однако мы успели окрестить
дрожащее, пылающее тельце,
нет, душу, что цвела в моём младенце
и, верно, станет за меня молить

Спасителя, Предвечного... За всех
нас, недостойных, прогневивших, грешных...
Теперь апрель. Скворцы поют в черешнях.
Сколь чёрен плод, а цвет был – точно снег!

Мне всё черно... Как рать за ратью, смерть
встаёт за смертью – и темнит мне очи.
Всё трупный дух... А розы – нету мочи! –
мне шелестят: «Сколь славно умереть!...»

Но в синеве прозрачною рукой
малютка мой прощально помахает.
Там, в небесах, отец его качает,
склонясь к скорлупке – зыбке золотой...

Там, в синеве, просторно без меня...
Здесь мне без них так больно, что – не больно.
Я не дышу, чтоб не спугнуть невольно
их сон, ночной зефир обременя...

Не плачу я, чтоб горькою слезой
не помрачить заоблачный их, Млечный
жемчужный путь, где встретит их Предвечный –
свободных от тоски моей земной...»

2 марта 1999

Надпись на памятнике

Тигриной масти город Тегеран.
Тигринный рев таит в своей утробе...
Далёко ж повезут тебя во гробе
через притихший, сумрачный Иран.

Высо́ко же положат – на горе,
у стен святой обители Давида.
Все́й Грузии видна сейчас Мтацминда
в алмазах слёз на траурной чадре.

Вся Грузия, как юная вдова,
что к твоему приникла изголовью,
начертит негасимую любовью
на камне те бессмертные слова...

17 июля 1998

Нина

I

Её чадра, как соль слезы, бела.
Её слеза твой сон не потревожит.
Её любви и Смерть не превозможет:
на камне чёрной розой расцвела.

II

Её любовь – в венке из чёрных роз,
обрызганных росой слёз алмазной.
Не зря молва звала её прекрасной –
заложницу своих девичьих грёз.

Затворницу... Со сломанным цветком
её сравнят. С Мадонною Мурильо.
Но лучший стих – и тот словесной пылью
помстится перед горестным челом,

приникшим к чёрно-хладному кресту...
«Придёте кудри наклонять и плакать», –
сказал поэт... Как сблизил он, однако,
отчаянье, и смерть, и красоту!

18 сентября 1998

III

А Смерти нет. Она в Бериз ушла
да в Тегеран, политый русской кровью,
оставив Нине ласковую, вдовью
мольбу: «О, для чего пережила

моя любовь твой быстролётный век,
твой искромётный смех, твоё страданье?..
Зачем лоза струит благоуханье?
Зачем слепит высокогорный снег?

Зачем смуглеют розы лепестки?
Зачем свеча торит на фортепьяно?
Кто ж ныне повторит твоё пиано
в той пьесе для простреленной руки?

Кто ж улыбнётся среди тяжких дум,
как ты, – сверкнув лукавыми очками:
«Ах, Нина, отвали-ка этот камень!
Поедем-ка, за нашими, в Арзрум!

Поедем перевалами на Карс,
поить коней, как Пушкин, в Арпачае...
Ах, Нина, я почти не различаю
твоих грузинских, влажных чёрных глаз!..

Ужели с мёртвым говорит она?
Ужель слезами не растопит камень,
обвив распяты жаркими руками,
изваянная в мраморе жена?..

19 сентября 1998

Голос

I

Скажите: для чего я – в сердце гор?
Зачем на мне, как латы, эти плиты?..
Но, Русь, не отводи же от Мтацминды
свой дальнзоркий, многотумный взор!

Не отступай же вспять, не утопай
в своём чухонском северном болоте.
Как славно на последнем переходе
«Ура! – воскликнуть. – Вот и Арпачай!»

И берега, что прежде был чужим,
копьем коснуться, звонкою подковой.
В орлиных бурках батальон стрелковый.
Кизячный дым чадит, как отчий дым...

19 сентября 1998

II

Я мог бы быть, как храбрый Александр
Одоевский... Как этот шалый Пушкин...
Турецких бань ковровые подушки...
Граната цвет... Шехерезады сад.

Я б мог проехать пламенный Восток
от Терека ревущего до Ганга,
вплетая в лён полуночного флага
рассветный лотос, пряный лепесток,

дабы британский лев простёрся ниц, –
понеже от днепровского истока
до златокованных ворот Востока
в уме своём не вижу нам границ...

19 сентября 1998

Молчанье

В садах Саади умер соловей,
в садах Саади почернели розы,
и лепестки, как высохшие слёзы,
шуршат среди полуденных камней.

Что он – Гекубе?.. Что ему – фарсй,
всё сладкогласье мусульманской речи?..
Надолго онемееет Москворечье,
следа восход окраинной Руси.

11 декабря 1997

Весть

А что в Хмелите?.. Знают ли о том?
Минует год иль чуть помене года?..
Визжит коса: июльская погода!
Круглится луг ромашковым холмом.

Как раз к Казанской подоспеет весть.
Заупокойный отстоят молебен.
«Зело учён! ан дух – неблаголепен!..
А впрочем, надо б «Горе» перечесть.

Куда ж та скоросшивная тетрадь
запропастилась?.. Что за зверский почерк!
А Чацкий?.. Да его без проволочек
в Сибирь бы! В рудники бы отослать!..

А пасквиль на Паскевича?.. Свойство –
и то не в счёт... *Кто скалит зубы?* Он ли,
герой Кавказа?!.. Надо ж – сколько соли
на голову лавровую его!..»

Судачат, плачут, юную вдову,
дивяся ей— младёшенька!.. – жалеют,
А тот, по ком чадры ещё белеют,
в персидскую вмуравлен синеву.

И роз тяжёлых головы грустны,
и кипарисы строгие угрюмы.
И принц в Тебризе полон мрачной думы:
он не желал с неверными войны!..

Но тот, чья не разгадана душа,
земных терзаний более не знает,
и мысль его к нам ласточкой слетает:
как жизнь, как смерть, как вечность хороша!

Зачем же Нина плачет? Столь юна!..
Чуть свет – опять к обители Давида...

Любовь земная в небе не избыта,
дитя моё, вина моя, жена!

Как ей сказать? – пусть русские поля
однажды навестит. Мой белый Север.
Там виноградом – хмель, а розой – клевер,
там липы, вдовы-ивы, тополя...

Там обо мне различно говорят.
Иной мудрец бы не дал и полушки...
Но, право, не в Арзрум он ехал, Пушкин,
а мне навстречу – добрый мой собрат!

И пусть в сердцах я проклял стылый край –
мол, не ездок туда, мол, в Цинандали
осел бы... Утоли мои печали:
в Москву, да хоть в Хмелиту поезжай.

Последний мой привет, последний вздох
там передай: я – вечный сын России,
простёршейся до горной Иберии
и дале, вглубь, на яростный Восток!

11, 16 июля 1998

Легенда

В лугах уж догорает девясил.
Где цвет пылал – запёкшаяся рана.
И вновь – кровавый сумрак Тегерана,
сиротство неоплаканных могил.

Когда ещё узнают и найдут
лоскутья тел, простреленную руку...
Да будет Русской Миссии в науку:
один Аллах, Аллах всесилен тут!

За голову мудрёную – алмаз:
слезу небес! – ужель оно не много?
Ведь тот, кому в бессмертие дорога,
дервишем, говорят, ушёл в Шираз.

Ушёл по следу брата Саади,
ушёл по зову звонкого Хафиза.
Вся из лохмотьев траурная риза:
дервиш, лишь сердце русское в груди!

В лугах июля вянет девясил.
Где цвет пылал – запёкшаяся рана
коричневою розой Тегерана
темнеет среди вяземских могил...

12 июля 1998

Над картой

И всё же он в чужбине схоронён,
в окрестности своей бывлой державы.
Он мёртв, а мёртвые не имеют славы,
коль их отчизна угнана в полон.

Он мёртв. Но он не имеет и стыда.
Он всё свершил, что мыслимо, и даже –
немыслимо... Ведь что страшней и краше,
чем смерть, какую принял он тогда?..

Молчат чинары. Пепельный платан
молчит. И даже розы прячут взоры.
Ну как шепнуть ему, что эти горы
плывут на карты чужеземных стран?

Но он, пожалуй, сам угрюмо зрит,
увит сухой лозою Иберии,
всё море слёз пустеющей России
и думает: за что ж я был убит?..

Ужель затем, чтоб, как немой укор,
стоять перед растерянным потомком,
а тот влачится по миру с котомкой –
сумой, где свищет горе да позор?

17 июля 1998

Завещание

Вы скажете, что жив и не умрёт
мой труд?.. И что на русские скрижали
записан Чацкий?.. То е г о печали!
меня ж забудут... Ветренный народ!

Ленив, нелюбопытен... Будет прав
поэт скорбящий. Впрочем, может стать,
в моей душе затеет покопаться
иной невежа, случаем прознав

от Пушкина, ещё ли от кого,
что был я будто *необыкновенный*...
Но я и рад судьбе моей забвенной.
Что – я? Узрите д у х а торжество!

23 сентября 1998

Вместо послесловия

Так заслонён громадою у м а ,
так упасён его незримым г о р е м ,
что мы о нём, насмешнике, не спорим:
ведь он – не он, а точно Русь сама...

Как будто бы и нè жил на земле,
а лёг в её глубины корневые,
где тайно бьют ключи языковые –
из чёрных глин... в серебряной золе...

12 декабря 1997

СОДЕРЖАНИЕ

Валентин Курбатов. Своя от своих	5
«Но я всегда умела посмотреть...»	30

СОФИЯ КИЕВСКАЯ

«Судьба моя была не зла...»	33
Река Лыбедь	34
«Страница – странница – страна...»	36
«Все длинней новогодние ночи...»	37
«А он был тоже окружением...»	39
На Украине. 1942 год.....	41
«Все называется: война...»	42
«Пока вы отступали на Восток...»	43
София Киевская	
«Я буду камень слушать в эту ночь...»	44
I. Петровский вход	45
II. Голосники	46
III. Фреска	47
IV. Оранта.....	48
V. Послы.....	51
VI. Ярослав	52
VII. Дочери	53
VIII. Художник мозаики	54
IX. Сын.....	55
5 ноября 1943 года.....	56
Последние зимы войны	57
Сон о Востоке и Западе.....	58
Тридцатая годовщина	61
«Королевский фасолевый цвет...»	62
«Разве стану тебя упрекать?...»	64
«Но что была бы я без языка...»	67
Голос под снегом	68
Август 1945 года	71
Прогулка.....	74
Весна 1946 года	76
«Мне говорят: где правды свет?...»	78
«...Но ту босую, бедную тетрадь...»	79
«Ветер с юга – и сердцу вольней...»	80
Южный календарь.....	81
«Не пойдешь ты за фобом моим...»	82
«И мне приснилось: родина твоя...»	83
«Я твоей не желала любви...»	84
«Ах, этот блеск дырявого дождя...»	85

«...А старинного года свеча...»	87
«И выпало нам дивное богатство...»	88
Дорога	90
Тревожная весна (1981)	
1. «Но в эту ночь такая тишина...»	92
2. «И вот уж, не безмолвна, так – стара...»	94
3. «Свернулся свитком твой могучий век...»	95
4. «...И пахнет печь засушенной калиной...»	95

БАЛКОН НАД ПРОПАСТЬЮ

«В тот ранний час, когда пришла беда...»	99
Дом поэта	100
«И я увижу в зеркале себя...»	102
Горят торфяники (лето 1972 года)	103
«Когда уже не вспомню слов...»	104
«Что делать с сердцем, – бедное, в груди...»	107
«Ты придумал такую разлуку...»	108
«Ах, разлука! Сухая наука!...»	109
Путь в Михайловское	110
Три стихотворения	111
1. «Изноют плечи... Разве ж не люблю...»	111
2. «Не за то я тобою любима...»	111
3. «Ах, отчизна!.. Ненастные очи!...»	112
«— Любимая! – так пишется в письме...»	114
«...И будет так: уже без слов...»	115
Балкон над пропастью висит	116
I. Утро	116
II. Старость	118
III. В исходе дня, в начале века	118
IV. На Печерске	119
«Вошла – сама не рада...»	121
«Промотав столько лет, столько зим...»	123
«Как будто первого мороза...»	125
«Всяким словом твоим дорожу...»	126
«Не трону – ни веткой, ни вечным...»	127
В марте	128
1. «Газетная безоблачная проза...»	128
2. «Мне больше нравилось бывшее запустенье...»	129
«Не измены – но серые стены...»	131
«Нелюбимая – телом страшна...»	132
«...И так покажется пуста...»	133
«А в проломе каменного лаза...»	134
К портрету Ксении Некрасовой	135
«А я тебя любить заране...»	136
Вечер в деревне	137

«Ах, много ль зла в моем укорее?»	139
«И сказать ничего не умела...»	140
«Когда предстану...»	142
Новогоднее.....	144
I. «Так обошлась: без яств и без стола...».....	144
II. «...А снег прилип к зажженному окну...»	144
«Творит добро не знавший зла...».....	145
Песня	147
«И будет – розов и коричнев...»	149
В старой подмосковной	150
«Лазурью райской светится цикорий...»	151
«Чужую беду руками разведу...»	153
«Это – там, в никогда, вдалеке...»	154
«Помилуй: это ли – обида...».....	155
«Ах, здравствуй, пышное зверье!...»	157
Вьюга.....	159
«Выпь кричит – иль ворота скрипят...»	161
Снежная гроза.....	162
«Завидую своей девичьей грусти...».....	164
Неблагодарность	165
«Еще случится!.. Хвойного огня...»	166
«А он был весь – из бархата, из пуха...»	168
«Это ты – в каторжанской работе...»	169
«Этот русский анапест...»	170
«Когда лежала не дыша...»	171
«Не говорю тебе прощай...»	172
«В отчизне я... А это значит – снова...»	174
«...Но такого, как нынче, бессилья...».....	176
«Не Божий дар, а сердца простота...»	177
«Во льду змеится полотно...»	178
Засуха	180
Сумерки	181
1. «И выпадет – калиткой отсыревшей...»	181
2. «Темный шорох травы неказистой...»	181
«А то, что было снежною грозой...»	182

СКАЗКИ

«Я пишу тебе письма мои...»	185
«Такая ночь, такая благодать...»	186
Свирель	187
Далекий день	188
Грустная буколика	189
«Я-то знаю: по границе ада...»	191
Мифы Эллады. Марсий	192

Петровское (У Ганнибалов)	194
Два стихотворения	195
I. Осень 1830	195
II. «И поделом! И поделом!..»	196
«Михайловское!.. Плакать, плакать...»	198
Река Великая	199
«Земля лежала под корявым льдом...»	200
Пскова	202
«И будут снова – сосны до небес...»	203
«Хорошо мне лежать под кустом...»	204
Интермедия	205
После дождя	206
«Закрывать глаза, катиться вспять...»	207
«Что мне делать с бессмертием твоим...»	208
Розы	209
Старая икона	210
Глиняная птица	211
Триптих	213
1. «И тесно стало мне...»	213
2. «Вот и стала хозяйкой лихою...»	213
3. «На скатерти беленой...»	213
Ель	215
«Опять без сна мне маяться во сне...»	216
«Не закатаешь к осеннему небу...»	217
Братьям меньшим	218
Последний путь	220
«Я никуда не уезжаю...»	222
«Эта глушь... Сухомятные строки...»	224
«Что толку с гордой головой...»	225
«Разлука! Что ж она со мной...»	226
«Так себя горделиво жалеть...»	227
Вечер	228
«А по осени вышли грибы...»	229
В мае	231
«Неурочно гремят соловьи...»	232
Сказки	233
1. «Там, в Шварцвальде, – холода...»	233
2. «Сошью себе обновку...»	233
3. «Но промерзлые уста...»	233
В апреле, над Днепром	235
В долготу дней	237
1. «Уже из головы твоей...»	237
2. «...Но вот из школы потекла...»	238
«Соловей, соловей, соловей...»	240

Возвращение на север.....	241
Присказка.....	243
Ответ критику	244
«Но ты, кого я вовсе без любви...»	245
«Ветер в дикие степи уносит...»	246
Лесной пожар	247
I. В чайной (май, 1972)	247
II. Древлянский лес	247
III. Гарь	249
«Июньский день в глуши тенист и звонок...»	250
«Томлюсь ли в зимней пустоте...»	252
Штрихи	
1. Забытье	253
2. Рассвет	253
3. В горах.....	253
4. Единство	253
5. Работа	253
6. Море	254
7. Вечер	254
8. Болезнь	254
9. Слово	254
10. Прощанье.....	254
11. Пейзаж	254
12. Метафора	255
«Иван-царевич так живет...»	256

ВЫХОД К МОРЮ

«Начинается эта страница...»	259
Выход к морю	
1. «Так вот куда стремились мы от века...»	261
2. «Варяжское, языческое море!...».....	262
Холодная весна	264
«В этом мире, расчерченном начерно...»	267
«...И я не стала ни сестрой...»	268
«Безмерные права...»	269
Забытый поэт.....	270
«...Но это старость – морщит жаркий лоб...»	272
«Видно, загодя – дело не чисто...»	273
Воспоминание о Яропольце	274
«Сколько мглы!.. Хрипота в голосах...»	278
«Ранние приходы темноты...»	279
«Чужбина. Море. Снеговая воля...»	281
«Опостылел и город, и дом...»	283
«Уже следов любовного недуга...»	284

«Сколько лет, сколько зим протекло...» .	286
Латвийский берег	287
Песенка	290
«Холода!.. На дощатом пороге...»	291
Единство	292
«Это ложь, что врачуют стихи!..»	295
«Соловыиный, немислимый остров...»	296
Тростник	297
В шторм	298
«Нет, совсем не о гибели речь!..»	301
«А был он хлебом мне насущным...»	302
«Подарю тебе нынче свободу...»	303
На старом погосте	304
Весною	305
«Они даются иногда...»	307
«В четыре стороны легли дороги...»	309
Anno Domini	310
«И пересвист балтийских соловьев...»	311

МУЗЫКА В САДУ

«Еще слаба, ещё мала...»	315
На сопках Маньчжурии	317
«А голос матери моей...»	318
«Облака монастырской сирени...»	319
«Эта осень и студит, и тлеет...»	321
Посвящение	323
Старая мелодия	324
Сады цветут	325
1. «Ах, в моей соловьиной глуши...»	325
2. «Слышишь, мыши ушли из избы...»	325
Посмертная книга	326
«Я не историю пишу...»	329
Волоколамская осень	330
Песенка перед лепным Амуром в заросшем парке	333
«И вечерняя свежесть кукушки...»	334
В дороге	335
I. «Очарованье старых книг...»	335
II. «Ты это песней назовешь...»	337
«Когда красавицей была...»	338
В Спасском-Лутовинове	340
«Была ко мне жестокой...»	341
Северо-Запад	342
«Ах, на той, на веселой неделе...»	346
«Дует холодом в зябкие плечи...»	347

Признание	349
Три стихотворения	350
1. «Тот человек проходит...»	350
2. «Ужели чаша выпита до дна?...»	351
3. «На море и на суше...»	351
«То не я, это радостный бог...»	352
«Я сорок роз, возможно, призову...»	353
Музыка в купеческом саду	354
1. «Ах, этот тополь нынче околдован...»	354
2. «А я возьму в прихожей ветхий зонт...»	354
3. «Там нет меня! Совсем другая шла...»	356
4. «В узкое окно...»	356
«А меня вела беда...»	359
«Я не забвения страшусь...»	360
«Молве полей, тоске заречной...»	362
«Не разлука с тобою легка мне...»	363
«Ах, он-то знал, как серебрится золото...»	364
«Ты ль сожжешь эти голые строки...»	365
«О, я знаю, что все впереди...»	366
«...Но к сердцу подступает тишина...» 367	
«Я возьму этой осени дым...»	368
«...Но в эту ночь был так глубок...»	369
Сосна.....	370
«...А ты меня покинешь, как поэма...»	372
«Удержу ли листву тополей...»	373
Сентиментальная песенка	374
1. «Я буду известный поэт...»	374
2. «Увижу: никто никого...»	375
3. «Полсотни и несколько раз...»	375
На полустанке	377
«Ах, земля, твоего изобилья...»	379
Звенья	380
«И ты прильнешь к пустому изголовью...»	382
«Все о том— о былом, о любимом...»	383
«А я сказала: "Будь мне другом..."»	384
«Тем ли кончу, иль эдак умру...»	386
«А та земля, в которую сойду...»	387
«Ушла в луга. Оставила записку...»	388

ИЗ КНИГИ «ВСЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ...» СТИХИ О РОДИНЕ (90-е ГОДЫ)

От автора	391
Осенний парад.....	392
Час Беловежья	393

Воздвижение.....	394
СНГ. Историк	395
«Отложить бы ее на потом...»	396
Останкино 3 октября 1993 года	397
Сороковины	398
В Небесной Стороне	400
«И Все Святые, что в родной земле...»	402
В Заволжье.....	403
«...А здесь Страстная тянется неделя...»	405
Приметы.....	406
Нашествие	407
Масличная ветка	408
«И высятся леса чертополоха...»	411
К 9 Мая 1994 года	412
«Всё так: в густой реке алекуг воды...»	413
«И принесли мне темных пять гвоздик...»	414
Покидающим Родину	415
Сквозь слёзы	416
Всю смерть поправ!	419
Письмо	421
«...А завтра будет день, подобный чаше...»	423
Русские поэты	424
Ожидание чуда	425
У Сергия	428
Актеры	430
К 9 Мая 1995 года	433
На семи холмах	435
Прощание.....	437
Сеятель.....	438
«Когда рекут орудья, музы спят...»	440
«Просохнет кровь. Отступят злые беды...»	441
Победа.....	442

ИЗ КНИГИ «РУССКИЕ ГРАНИЦЫ» (ИЗБРАННЫЕ СТИХИ 90-Х ГОДОВ)

От автора	445
Мы.....	446
«Зеленой Троицы благословенный день...»	448
Наваждение	449
I. «Человеке лицом комедианта...»	449
II. «Я рядила: благо, дело к ночи...»	451
Русские границы	454
I. «Вы ищете уютной, скромной славы...»	454
II. «Он не зырянин, финн или лопарь...»	455
III. «...И надобна великая страда...»	455

Черноплодная рябина. Осень 1991 года	458
Памятник Пушкину	460
Разоренье	462
Эмигранты: «Вторая волна»	464
Противостояние	466
Русскому мюнхенцу	469
Погосты	471
Из уст в уста	474
Современники	476
Сила навья	479
Парад Победы	482
Генералиссимус	484
Очевидец.....	485
Прощальный парад	486
Журавлиное перо	489

МУЗЫКА НА СВЯТКИ

От автора	495
Вечера русской музыки	497
Декабрь	498
1. «И вновь свиридовской "Метелью" ...»	498
2. «Метель: как смерть, она бела...»	498
3. «Всего-то – вальс. Короткий вальс...»	499
4. «Еще не вальс, а полонез...»	499
5. «Но кто-то пишет мадригал...».....	501
6. «А томик Пушкина в руке...»	502
7. «А тот пленительный романс...»	503
8. «Какой-то Белкин сочинил...»	504
9. «Не станет книг, не будет слов...»	504
Зимние птицы	506
I. «Молчим. Скорбим. Осиротели...».....	506
II. «И воском ласковый сочельник...».....	506
III. «И черный ворон, черный ворон...»	506
Пасмурное	508
«Какие дивные метели...»	508
«И проступили поневоле...».....	508
«Я – на Девбъчем, где под грунтом...»	509
«А ветер Смуты, ветер Смуты...»	509
Прощание на Новодевичьем	510
I. «Пусть нету берегов у царства...»	510
II. «Здесь – кубок вьюг. Дозор мороза...».....	510
III. «А все же, скульптор, сочини...»	510
Венок и колокол	512
Девятый день.....	514

Затишье	516
В поле.....	517
I. «Что горше зимних похорон?...»	517
II. «Да и вороны не кричат...»	517
Молчание	518
Под Сретенье – сороковины	519
I. «День Сретенья, ты день разлуки!...»	519
II. «А Сретенье зовем – Громница...»	520
III. «День Сретенья!.. Осиротенья...»	520

ИЗ КНИГИ «ВОЗВРАЩЕНИЕ К НЕКРАСОВУ»

От автора	523
«Больной Некрасов... Кто измерит...»	524
«Он – детских лет воспоминанье...»	525
«За что люблю, мой ум не знает...»	526
В Грешневе	527
О песне.....	528
«Вот и сельцо. То – убого...»	529
«Какой же мать его была?...»	531
«Родство небесного с земными...»	533
Русская энциклопедия	534
В парке	538
I. «Пыльная грива пырея...»	538
II. «Всё-то, как прежде, огромна...»	541
III. «Вот и взрезает лопата...»	542
IV. «Ярко блестят на лопате...»	543
V. «Красною лентой гречиха...»	545
XII. «Надо же: рядом курится...»	546
«Всё судачат: какие деяния...»	551
1877 год.....	552
Неоконченная поэма	555
«Она придет на зов последний...»	557
Похороны.....	559
1. «Не бойся вьюги навесной...»	559
2. «На этот раз ведь обманула...»	559
3. «И, правда, славно – умереть...»	559
Вместо послесловия	561

559

ИЗ КНИГИ «ГРИБОЕДОВ»

От автора	565
Вместо предисловия	566
В усадьбе	567
I. «Он не был здесь – о, сколько мертвых лет!...»	567
II. «Но он пьянит, старинный аромат...»	568

Рояль в Хмелите.....	570
I. «И вновь бессмертен предвечерний час...»	570
II. «А у стены облитый молоком...».....	571
В Москве	574
I. «Московской молви прихотливый строй...» ...	574
II. «Пускай всю французят на балах...».....	574
Низкий жанр	575
Предсказание.....	576
Кавказ. Первые впечатления.....	578
Письмо с Кавказа	580
Армянский монастырь	584
Чацкий, Фамусов и другие	585
I. «Не ждали, чтоб герой мой был таков...»	585
II. «Да, я отстал от шепотов, кружков...»	585
III. «Но Репетилов будет посильней...»	586
IV. «Уж не вскричу: "Карету мне!.." – свой гнев...» ..	587
V. «А Чацкий... Ох, намаяюсь же я с ним...»	589
«А Пушкин?.. Знать, себе он на уме...».....	591
Обручение.....	592
В Сионском храме	593
Сын (Два голоса).....	596
I. «Что вижу я?.. Столь малый мотылек...».....	596
II. «Как рассказать?.. Он прожил только час...» ..	598
Надпись на памятнике	600
Нина	601
I. «Ее чадра, как соль слезы, бела...».....	601
II. «Ее любовь – в венке из черных роз...».....	601
III. «А Смерти нет. Она в Бериз ушла...».....	602
Голос.....	603
I. «Скажите: для чего я – в сердце гор?..»	603
II. «Я мог бы быть, как храбрый Александр...» ..	604
Молчанье	605
Весть	606
Легенда.....	608
Над картой	609
Завещание	610
Вместо послесловия	611

Глушкова Т. М.

Г 55 Не говорю тебе прощай...: Стихотворения и поэмы / Сост. В. Н. Мальми; Предисл. В. Я. Курбатова. – М.: Мол. гвардия, 2002. – 623[1]с. – (Б-ка лирической поэзии «Золотой жираф»),

ISBN 5-235-02539-3

В этот томик стихов недавно ушедшей из жизни замечательной поэтессы Татьяны Глушковой вошли самые лучшие произведения из всех ее прижизненных сборников начиная с 60-х годов прошлого века, а также фрагменты из последних стихотворных книг «Возвращение к Некрасову» и «Грибоедов».

Запевной мелодией всего творчества Глушковой стала глубокая и пророческая любовь к России, прозрение ее судьбы. Поэтессе было дано от Бога «чувствовать духовное здоровье и недомогание России так... словно у них было общее кровообращение».

УДК 882-1

ББК 84(2Рос=Рус)6=5

Глушкова Татьяна Михайловна
НЕ ГОВОРЮ ТЕБЕ ПРОШАЙ...

Главный редактор издательства **А. В. Петров**

Редактор **Л. А. Барыкина**

Художественный редактор **Н. С. Штефан**

Технический редактор **Р. А. Косыгин**

Корректор **Т. В. Павлова**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 30.07.2002. Подписано в печать 08.10.2002. Формат 70х100 1/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Тайме». Усл. печ. л. 25,35. Тираж 2000 экз. Заказ 23037.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 103030, Москва, Суцеская ул., 21.

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 103030, Москва, Суцеская ул., 21.

ISBN 5-235-02539-3